

Дмитрий Горин

Интеллектуалы и свобода

Опыт научного сообщества
в дореволюционной России

Московская школа
политических исследований
2012

ББК 60.543.132.1

Г 69

Дизайн обложки *Анны Хохловой*

Книга издана при поддержке Института "Открытое общество" (HESP), Шведского агентства международного сотрудничества для развития SIDA), группы компаний «Рольф».

Г 69 **Горин Д.Г.** Интеллектуалы и свобода. Опыт научного сообщества в дореволюционной России. — М.: Московская школа политических исследований, 2012. — 152 с.

Какая связь между развитием науки, университетской автономией и проектом демократии? Как эта связь проявилась в судьбе российского «ученого сословия», осознающего необходимость гражданского просвещения? В поисках ответов на эти и другие актуальные для современной России вопросы автор обращается к истории гражданской активности российской профессуры XIX — начала XX века. В современном контексте этот опыт важен не только для понимания истоков гражданского общества и его потенциала, но и для опровержения распространенного тезиса о несовместимости идеалов права и свободы с традициями российской культуры.

ББК 60.543.132.1

ISBN 978-5-91734-031-9

© Московская школа
политических исследований, 2012

Содержание

<i>От автора</i>	4
Университеты и свобода: русская ретроспектива на фоне Европы	10
Рождение «ученого сословия»: опыт социальной сети поверх сословных границ	34
Самоподрыв самодержавия: университетская автономия и власть	57
Дух свободы в несвободном обществе	78
«Профессорская культура»: историко-культурные контексты «расколдованного» мира	101
Быть интеллектуалом в России (<i>вместо послесловия</i>) ..	127

От автора

Ученые, философы, писатели творят, чтобы сказать нам: «Вы думаете, что дела обстоят таким образом, но вы тешите себя иллюзиями, потому что на самом деле все неизмеримо сложнее». Так делали все интеллектуалы, которых мы проходили в школе, их звали Парменид, Эйнштейн, Кант, Дарвин, Макиавелли или Джойс.

Умберто Эко

Работа над этой книгой совпала с необычным для России последних лет всплеском гражданской активности. Успешные, хорошо образованные и энергичные люди, сторонившиеся еще недавно не только политической жизни, но и любого открытого проявления гражданской позиции, вышли на площади Москвы и многих российских городов с требованием честных выборов. Тогда казалось, что гражданское общество вдруг осознало свое единство и обрело свой собственный голос. Но подобные процессы не происходят одновременно. И если сегодня возникают очевидные основания говорить об укреплении гражданского общества, то предпосылки гражданской активности вызревали задолго до событий, ставших финалом эпохи «нулевых».

Сквозь оттепели и разочарования, переживаемые разными поколениями граждан нашей страны, постепенно приходило осознание зависимости между личными перспективами и необходимостью открытия легальных каналов социальной мобильности, заблокированных коррупцией и режимом «ручного управления». Социологические предпосылки развития гражданской активности можно отыскать в динамике структуры советского и постсоветского общества. Оформление слоя самостоятельных и активных людей происходило в последние десятилетия весьма сложно и противоречиво. Однако этот длительный, но все более очевидный процесс обретения гражданского самосознания имеет свои предпосылки не только в социальной структуре. Не менее важным является вызревание в культуре России духовной традиции гражданского мышления. Открытие гражданской свободы и осознание гражданской ответственности — процесс, пожалуй, еще более сложный, чем формирование слоя потенциальных носителей гражданских идей. Гражданские чувства невозможно заимствовать, их нельзя имитировать за деньги или проявлять по приказу «сверху». Единственная возможность обретения чувства гражданственности — это многолетнее культивирование его в своей культуре. И, возможно, — не для себя, а для последующих поколений.

Ретроспектива зарождения гражданского самосознания в России драматична, прерывиста, но многообразна и интересна. Она наполнена не только великими разочарованиями, но и блистательными примерами, способными и сегодня вселить уверенность в победе свободы и ответственности над унижением и апатией. Одним из наиболее ярких эпизодов в этой ретроспективе является опыт сообщества университетских ученых XIX и начала XX века.

Именно XIX век стал временем, когда в российском обществе оформились нравственно-психологические и общественно-политические предпосылки гражданской

активности. Через сто лет после Петра I заложенная его преобразованиями имперская модель абсолютистской монархии начала обретать очертания, далеко выходящие за рамки европейских прообразов. Попытки создания идеократической империи, дополненной самодержавной властью и системой политического сыска, воплотившегося в эпоху правления Николая I в известном Третьем отделении, — представляют собой весьма органичные этапы эволюции все той же петровской монархии. Такая эволюция российской власти не могла не породить в обществе противоположных стремлений к укреплению ценностей гражданских прав и свобод. Стремления эти находили многообразное проявление в культуре XIX века. Вся общественная жизнь в тот период стала результатом гражданского раскрепощения, когда различные общественные и культурные тенденции обретали свои голоса. Голоса эти звучали в разных форматах: литературное творчество и наука, публицистика и общественно-политическая мысль, музыка и светское богословие... И звучали они настолько громко, что преодолели не только цензурные ограничения, но и свою эпоху.

Становление сообщества университетских ученых в дореволюционной России — всего лишь один из примеров открытия пространства гражданской свободы. Но обращение к этому примеру необходимо сегодня не только для понимания истоков гражданского общества, но прежде всего для опровержения легковесного, но весьма распространенного тезиса о том, что идеалы гражданских прав и свобод являются чуждыми для российской культуры. Опыт гражданской активности «ученого сословия» в дореволюционной России привлекает устойчивой способностью университетских профессоров поддерживать собственную идентичность и сплоченность, отстаивать принципы регуляции внутренней жизни университетов в социальных условиях, радикально отличавшихся от жизни остальной России.

Что касается названия книги, то оно указывает на суть проблемы: связь между рождением сообщества интеллектуалов и осознанием необходимости гражданской свободы. Возможно, у кого-то из читателей вызовет недоумение слово «интеллектуалы» в названии вместо, казалось бы, более уместного «интеллигенция». И это недоумение будет вполне обоснованным: интеллигенция — феномен именно русской культуры, отражающий связь интеллектуальных занятий с вполне конкретным набором духовно-нравственных черт, отличающих идеальный образ русского интеллигента от западного интеллектуала. И даже более того, именно слово «интеллигенция» отражает тот тип интеллектуала, который появляется в обществе, переживающем одностороннюю модернизацию. Но в данном случае выбрано именно слово «интеллектуалы». И причин здесь несколько. Одна из них в излишней идеологизации понятия «интеллигенция». Еще в начале XX века, после выхода сборников «Вехи» и «Интеллигенция в России», эта идеологизация привела к нескончаемым и весьма запутанным спорам на тему о том, кто из русских интеллектуалов интеллигент, а кто нет. «Насколько чудовищно мнилось до революции назвать интеллигентом священника, настолько естественно теперь зовется интеллигентом партийный агитатор и политрук», — писал в середине 1970-х годов Александр Солженицын, сделавший вывод о том, что это понятие, так и не получив четкого определения, утратило свой смысл. Споры об интеллигенции мне хотелось бы оставить за рамками книги, которая лишь частично касается этой проблемы. Поэтому в название поставлено слово «интеллектуалы», пусть менее определенное, но свободное от излишней в данном случае идеологической стереотипизации.

В современном социально-политическом контексте история университетского научного сообщества интересна еще, как минимум, по двум причинам. Одна из них состоит в необходимости осмысления взаимосвязанных судеб уни-

верситета, социально-гуманитарного знания и проекта демократии. В культуре постмодерна наблюдается явный упадок и первого, и второго, и третьего. Этому спаду предшествовал триумф наук об обществе и человеке, обосновавших эффективность демократии. И этот триумф был связан с университетами, ставшими центрами гражданской активности. Пожалуй, символическим пиком этого подъема был 1968 год, когда в разных странах вышедшие на улицу студенты стали генераторами ценностей свободы и обновленного гуманизма. Какова связь между университетом, наукой и гражданскими свободами? Как эта связь проявила себя в судьбе интеллектуального сообщества дореволюционной России? Что происходит с университетскими интеллектуалами сегодня и как взаимосвязаны упадок университетского этоса и кризис привычных представлений о демократии? В условиях мирового финансового кризиса, природа которого, очевидно, не сводится к финансам, эти вопросы обретают новую значимость.

Вторая причина связана с аналогиями, которые можно увидеть между событиями гражданской и политической жизни России последних лет и ситуацией XIX и начала XX века. Разумеется, любая историческая аналогия — вещь не только занимательная, но и опасная. И тем не менее. В то время так же, как и сегодня, перед властью стояла проблема модернизации. Появление и развитие университетов было вызвано именно этими модернизационными потребностями. Но и тогда, и сегодня власть стремилась найти такую форму модернизации, которая позволила бы провести технологическую реконструкцию при одновременной консервации общественной и политической сферы. Стремление открывать университеты и развивать там науки соседствовало с упорным нежеланием проводить назревшие политические реформы и трансформировать режим самодержавия. Это означает, что университетские свободы необходимо было сдерживать таким образом, чтобы наука

не породила критику неэффективной власти, а университеты не стали бы рассадниками конституционных и демократических идей. Так же и сегодня: власти хотелось бы перевооружить экономику, запустить инновационное развитие, но так, чтобы оно не поставило под сомнение режим «ручного управления» и не привело к необходимости модернизации политической системы и общественных отношений.

Насколько успешной может быть такая урезанная программа реформ? К чему вообще ведет односторонняя и неорганичная модернизация — модернизация по инициативе власти, блокирующая любые попытки раскрепощения общества? И главное: как на фоне этих противоречивых процессов происходит рождение целого слоя, представители которого помимо личных и профессиональных интересов начинают осознавать свой общий гражданский интерес? Вряд ли эти вопросы можно считать новыми. Но в российской политике и культуре они обретают то свое «проклятое» свойство, которое заставляет искать на них ответы каждый раз заново.

*Дмитрий Горин,
г. Санкт-Петербург, май 2012 года*

Университеты и свобода: русская ретроспектива на фоне Европы

Открытие пространства личной свободы не происходит естественно, оно требует определенных усилий. Усилия эти могут выражаться в разных формах, в том числе в форме научной деятельности. По крайней мере в том смысле, в каком она понимается в культуре модерна. Развитие научной рациональности Макс Вебер определил как «расколдовывание» мира. Мир, представлявшийся в традиционных культурах как целостный и покрытый сокровенной тайной, теперь дифференцируется и рационализируется. Под влиянием научной рациональности реальность подвергается аналитической разделенности, и каждое явление постепенно обретает логическую ясность и свои конкретные границы. Как в научном мировоззрении реальность распадается на предметы конкретных исследований, так и в социальной жизни каждый элемент обретает свое строго определенное место. Теории общественного договора и разделения властей лишают власть сакральной таинственности и ограничивают пространство ее влияния. По мере развития социальных и гуманитарных наук закрепляется представление о том, что религию можно отделить от политики, политику от экономики, а экономику от власти. И в этой разделенности на смену священной тайне приходит рациональная модель. Если тайна сокрыта от человека, то модель является продуктом его интеллектуальной деятельности. Поэтому «расколдованную» реальность

теперь можно не только моделировать, но и проектировать. Весь этот процесс «расколдовывания» мира невозможен без освобождения личности. Классическая наука основывается на идее свободы познающего субъекта. Она требует самостоятельности мышления без помощи каких-либо авторитетов. И под влиянием научной рациональности идея свободы неизбежно конкретизируется. Из свободы только лишь в сфере познания она трансформируется в свободу, проявляющую себя во всех сферах общественной жизни.

Однако не следует забывать, что научная рациональность в ее классическом виде вызревала еще в средневековой Европе и напрямую была связана с эволюцией западного образа мысли, прошедшего через Ренессанс, Реформацию и Просвещение. В дореволюционной России влияние идеалов Просвещения не могло быть укоренено в опыте, аналогичном опыту Ренессанса и Реформации. Реальность российской жизни сохраняла свою «заколдованную» самодержавную целостность. И хотя к XIX веку эта целостность дала явную трещину, режим Николая I из последних сил пытался поддержать веру в невозможность отделения самодержавия от православия, православия от народности, а народности — опять же от самодержавия. Опыт открытия свободы университетскими интеллектуалами в таких условиях представляется весьма любопытным не только в плане анализа особенностей России, но как пример поддержания целым сообществом общих ценностей, весьма специфичных на фоне доминирующей картины мира.

1.

Образ профессора в России обретает узнаваемые черты во второй половине XIX века. К этому времени выходец из кружка профессора Грановского Александр Герцен создает целую галерею портретов российских ученых в «Былом и думах». Радикальный писатель Николай Чернышевский

рисует с профессора Константина Кавелина образ Рязанцева в «Прологе». Один из самых известных русских писателей Федор Достоевский воспроизводит черты профессора Тимофея Грановского в образе Верховенского-старшего в «Бесах». На рубеже столетий и в первые десятилетия XX века образ профессора привлекает внимание многих известных писателей от Антона Чехова и Андрея Белого до Леонида Андреева и Михаила Булгакова. А революционный поэт Владимир Маяковский даже вступает в прямую полемику с неким воображаемым профессором, в котором угадывается облик лидера российских либералов Павла Милюкова:

Профессор,
снимите очки-велосипед!
Я сам расскажу
о времени
и о себе¹.

Откуда такое внимание к образу ученого в стране, в которой подавляющая часть населения даже не умела читать? Если учесть, что в России профессура была настолько малочисленной группой, что в переписи 1869 года их объединили с музыкантами, библиотекарями и лаборантами², то вряд ли причиной такого интереса можно считать лишь профессиональную деятельность университетских ученых. Скорее, причина этого внимания кроется в другом. А именно в гражданской активности российских профессоров и в их приверженности относительно общим для них ценностям, обратившим на себя внимание менявшегося российского общества.

В годы появления в России университетского научного сообщества гражданская жизнь была заметно ограничена. Молодому мыслящему человеку сложно было найти достойное поприще для проявления своих способностей и

не пополнить круг «лишних людей», утративших интерес к практической жизни. Известный юрист, историк и публицист Борис Чичерин вспоминал: «Всякая внешняя деятельность была подавлена. Государственная служба представляла только рутинное восхождение по чиновной лестнице, где протекция оказывала всемогущее действие. Молодые люди, которые сначала с жаром за нее принимались, скоро остывали, потому что видели бесплодность своих усилий, и лишь нужда могла оставить их на этой дороге. Точно так же и общественная служба, лишенная всякого серьезного содержания, была поприщем личного честолюбия и мелких интриг. В нее стремились люди, которых тщеславие удовлетворялось тем, что они на маленьком поприще играли маленькую роль». Неудивительно, что в этих условиях молодые люди, стремившиеся к активной гражданской жизни, обращались к научной деятельности и университетской карьере. «При тогдашней цензуре немилосердно отсекалось все, что могло бы показаться хотя бы отдаленным намеком на либеральный образ мыслей, — писал Чичерин. — Не допускалось ни малейшее, даже призрачное отступление от видов правительства или требований православной церкви. Конечно, мысль заковать нельзя, и публика привыкла читать между строками, но всякое серьезное обсуждение вопросов становилось невозможным. На кафедре было гораздо более простора; тут не было пошлого и трусливого цензора, опасющегося навлечь на себя правительственную кару и беспрестанно дрожащего за свою судьбу. Хотя, разумеется, и в университете не допускалась проповедь либеральных начал, однако под защиту просвещенного попечителя слово раздавалось свободнее, можно было, не касаясь животрепещущих вопросов, в широких чертах излагать историческое развитие человечества. И когда из стен аудитории это слово раздавалось в поучение публике, то оно привлекло к себе все, что было мыслящего и образованного в столице»³.

В этих условиях университетское сообщество становится генератором гражданской активности. Очагами, в которых происходило укрепление ценностей и идейных ориентаций нового «ученого сословия», стали профессорские кружки и журфикисы 1830–1840-х годов. Наиболее ярким из них был, пожалуй, московский кружок Тимофея Грановского. Сохранявшиеся и в последующие десятилетия такие кружки сыграли заметную роль в распространении просветительских идеалов и развитии гражданского общества. Уже через несколько десятилетий после своего оформления «ученое сословие» обрело способность в критических ситуациях демонстрировать единство по ключевым вопросам отстаивания корпоративной чести, университетской автономии и просветительских ценностей.

Внятная гражданская позиция университетских интеллектуалов проявилась уже во время Крымской войны, когда Константин Кавелин решился выступить с программными текстами относительно ситуации в России и перспектив общественно-политических преобразований. Для своего выступления он использовал опыт распространения политической рукописной литературы, сложившийся в последние годы Крымской войны. Особенно Кавелина заинтересовали «Историко-политические письма» профессора Московского университета, историка, публициста и издателя Михаила Погодина, которые он с конца 1853 года через министра императорского двора Владимира Адлерберга представлял царю. В этих письмах речь шла об опасности сохранения старого порядка и необходимости преобразований для предупреждения революционного взрыва. В 1854–1855 годах Кавелин вел с Погодиным дружескую переписку. И у него возникла мысль о создании специальной серии рукописных статей, которые давали бы оценку политическому положению и намечали пути выхода из кризиса. Он обратился за помощью к своему ученику Борису Чичерину, который и подготовил ряд статей. К работе был привлечен и писатель

Николай Мельгунов, поддерживавший связи с профессорскими кружками. Он в 1855 году также написал несколько статей. Свои статьи, распространявшиеся ранее в рукописном виде, Кавелин и Чичерин направили в Европу Александру Герцену. Но в письме «К издателю» просили напечатать их без редакционных изменений и не в «Полярной звезде», а отдельным изданием. Рукописи были напечатаны в отдельном сборнике «Голоса из России». Константин Кавелин и его сторонники отмежевались таким образом как от политики правительства, так и от революционных идей Герцена и Огарева, которые, по их мнению, провоцировали деспотизм самодержавия. Свою ставку авторы сборника делали на слой просвещенных личностей, который должен быть сформирован при условии соответствующей государственной политики. Разумеется, для развития такого слоя требовались «умственные и гражданские свободы», которые и отстаивали сторонники Кавелина.

Это выступление, организованное Константином Кавелиным, может быть названо первым программным выступлением российских либералов⁴. Оно вызвало большой резонанс и одобрение именно в профессорской среде. И, имея в виду авторитет Кавелина и его связи с российскими университетами, «Голоса из России» можно рассматривать как отражение общей позиции значительной части университетских интеллектуалов⁵.

С 1856 по 1860 год под общим названием «Голоса из России» было издано девять сборников. А в 1866 году удалось получить разрешение на издание журнала «Вестник Европы», редакционную политику и лицо которого многие годы будут определять Константин Кавелин, Михаил Стасюлевич, Владимир Спасович, Александр Пыпин и Борис Утин. Это пять профессоров Санкт-Петербургского университета, которые в 1861 году демонстративно ушли в отставку в знак протеста против политики правительства, направленной на ограничение университетских сво-

бод в связи со студенческими волнениями. Вместе со Стасюлевичем учредителем журнала стал известный историк Николай Костомаров. Новый «Вестник Европы» (прежний издавался с 1802 по 1830 год сначала Николаем Карамзиным, а потом Василием Жуковским и Михаилом Каченовским) превратился в общественно-политическое издание с внятной и последовательной позицией. Там публиковались статьи о развитии земского самоуправления и образования, о свободе печати и принципах веротерпимости, о нарушениях прав и свобод граждан и искажениях принципов судебной реформы 1864 года. «Вестник Европы» был единственным русским журналом, позволившем себе в 1896 году опубликовать рецензию на книгу обер-прокурора святейшего синода Константина Победоносцева «Московский сборник». Победоносцев, который в молодости разделял либеральные идеи и даже участвовал в сборнике «Голоса из России», сделав реакционные выводы из своих ранних увлечений, неумоимо боролся со слабыми ростками демократии, которые он называл следствием иноземной «великой лжи». В рецензии Леонида Слонимского удачно разоблачается главная уловка Победоносцева: обличая ложь западную, он обходит ложь собственную, которая обильно растет на непросвещенной почве и питает реакционную политику самодержавной власти⁶.

В первые десятилетия XX века университетская профессура ярко заявила о себе в публичной политике, составив интеллектуальное ядро Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы). Лидером кадетов стал профессор Павел Милюков, который сам был выходцем из профессорской семьи (его отец был профессором архитектуры). В состав руководящих органов партии вошли академики Владимир Вернадский и Сергей Ольденбург, профессора Алексей Дживилегов, Дмитрий Зернов, Александр Кизеветтер, Сергей Котляревский, Александр Мануйлов, Захарий Френкель и другие. Среди активных деятелей пар-

тии были физик Дмитрий Гольдгаммер, биологи Борис Райков, Николай Иванцов, Петр Шмидт, философ Николай Лосский, юрист Николай Гредескул, врач Андрей Шингарев. Примерно треть состава руководящих органов партии была представлена профессорами и юристами⁷. Партия продолжала традиции российского либерализма, заложенные несколькими десятилетиями ранее членами кружка Тимофея Грановского и развитые затем следующими поколениями российских интеллектуалов.

Возможность реализовать свои идеи общественные деятели, вышедшие из университетской среды, получили после созыва Первой Государственной думы в 1906 году. Партия кадетов в качестве ключевого тезиса своей программы определяла принципы неприкосновенности личности и гражданского равенства. Первая статья программы партии конституционных демократов провозглашала равенство граждан перед законом вне зависимости от пола, вероисповедания, национальности и сословной принадлежности. В четвертой статье речь шла о праве граждан устраивать публичные собрания «для обсуждения всякого рода вопросов». Профессор Павел Новгородцев 8 мая 1906 года от имени 31 члена кадетской партии вносит в Государственную думу законопроект об обеспечении неприкосновенности личности. Обосновывая проект, он выступает, в частности, за действенный контроль над полицейской и административной властями со стороны независимого суда. Спустя неделю, 15 мая, от имени 151 депутата профессор Федор Кокошкин выступает с требованием ограничения и даже уничтожения сословного неравенства и вносит на обсуждение Думы «Основные положения законов о гражданском равенстве». Профессор Шершеневич выступает за предоставление женщинам политических прав, что, по его мнению, должно привести к принципиальным изменениям в общественной жизни. А 16 июля от имени 33 депутатов, среди которых были профессора

Владимир Набоков и Лев Петражицкий, профессор Габриэль Шершеневич представляет законопроект о свободе собраний. Впрочем, Первая Государственная дума проработала всего 72 дня. Практически все законопроекты Первой Думы были разработаны кадетами, кроме законопроектов по аграрному вопросу, в котором они уже не были столь одиночками.

Но шанс конституционно-демократического развития России, как известно, тогда был упущен.

Логика развития гражданской активности университетской профессуры вполне очевидна. Пока их круг немногочислен, они работают, ориентируясь на ближайшее окружение. Поколение университетских профессоров 1830-1840-х годов направляло свою деятельность на только еще формирующуюся университетскую среду. И в этой среде молодые профессора находили и благодарную публику, и предмет своих надежд. Но затем, в середине и особенно во второй половине XIX века, когда гражданская активность «ученого сословия» вышла за рамки университетских стен и стала заметным явлением в культурной жизни России, университетские интеллектуалы обращают свои усилия уже на все общество. «Сколько бы ни доказывали, что высшие блага культуры самоценны и что можно служить им, не помышляя обо всем прочем, — никакая интеллигенция не может беспечно предаться этому служению, раз она не имеет уверенности в полезности своего труда для страны, для родины, для большинства населения, для народной массы», — писал в начале XX века Дмитрий Овсяннико-Куликовский⁸. Но именно в тот момент, когда этот узкий слой просветителей становится способным обратиться уже не к ближайшему окружению, а к обществу в целом, неизбежно наступает время разочарования и крушения надежд. Со стороны непросвещенного народа не слышат они ни сочувствия, ни отклика. Не чувствуют они и спроса на «высшие блага культуры», которые должны нести по долгу своей службы.

2.

В истории бывает много совпадений, которые, когда на них смотришь ретроспективно, представляются неизбежными. Но на самом деле эти совпадения могли быть и вполне случайными, что, впрочем, не отменяет логику событий, следующих за ними. В истории университетского научного сообщества к таким совпадениям можно отнести тот факт, что начало самосознания российской профессуры как целостного «ученого сословия» восходит к поколению Тимофея Грановского и его молодых коллег, направленных в Европу для подготовки к профессорскому служению. Связи между российскими профессорами и их европейскими коллегами были значимым фактором научной деятельности, а поездки за границу становятся со второй четверти XIX века неотъемлемой частью подготовки профессора. Если в XVIII веке российских интеллектуалов привлекал прежде всего Париж, то в XIX веке, особенно после 1830 года, Франция воспринималась как страна хронических революций и хаоса. Туда стремились прежде всего радикально настроенные интеллектуалы, а правительство поездки в Париж не поощряло. Напротив, Германия выглядела вполне безобидно, и молодых профессоров направляли именно туда. Однако, как отмечал Исайя Берлин, «тайное франкофильство в Германии этой поры было настолько сильным, а просвещенные немцы отдавались идеям — на сей раз французского Просвещения — настолько горячее и самозабвеннее самих французов, что послушно отправлявшиеся в Германию юные русские Анахарсисы заражались опасными идеями куда серьезней, чем в старом Париже беззаботных лет Луи-Филиппа»⁹.

В тот период немецкие университеты переживали серьезные изменения. Наполеоновские войны привели в упадок многие мелкие немецкие города, исчезли и некоторые старые университеты. В конце XVIII века европейские (не

только немецкие) интеллектуалы полагали, что университет изжил себя. Общий уровень профессуры был низким, лишь немногие университетские преподаватели занимались наукой и публиковали свои труды, а европейская интеллектуальная жизнь находила другие формы для своего проявления. На этом удручающем фоне неожиданно ярким оказался расцвет Берлинского университета, основанного в 1810 году Прусским государством. В стенах университета преподавали Гегель, Шлейермахер, Нибур, Савиньи, Эйхгорн. Один из наиболее ярких представителей немецкой классической философии Фихте в 1810 году становится первым избранным ректором университета. По аналогии с Берлинским университетом в 1818 году учреждается Боннский университет, призванный стать интеллектуальным центром для присоединенных Пруссией западных провинций. А чуть позже еще одним центром интеллектуальной свободы становится Йенский университет.

Совпадение, о котором говорилось выше, состоит в том, что российские интеллектуалы, направляемые именно в Германию, оказались свидетелями рождения принципиально новой модели национального университета — наделенного автономией преподавательского и исследовательского центра. Принципы этой модели были сформулированы в начале XIX века Вильгельмом фон Гумбольдтом, который настаивал на незыблемости принципа университетской автономии как главного условия свободной научной деятельности.

Гумбольдт видел в университете важнейший институт, способный реализовать мечту разрозненных немецких земель о национальном единстве и стать зримым воплощением духовного и организационного идеала гражданской нации. И действительно, немецкие университеты, несмотря на существующий раскол между ними, становятся почти единственным общегерманским институтом. Профессора имеют возможность переходить из одного университета в

другой, преодолевая таким образом цеховую замкнутость и поддерживая дух национальной солидарности. Знаменитые лекции Фихте о назначении ученого отражают характерные для немецких университетов того времени представления о роли науки и образования. Наука, как он доказывает, не только открывает человеку путь к знаниям, но и имеет существенную просветительскую ценность. Помимо решения прагматических задач, наука прежде всего проливает свет истины и создает новые смыслы человеческой жизни и общественного развития. Такое определение миссии науки сохраняется в немецком интеллектуальном сообществе и в XX веке. Достаточно назвать известный доклад Макса Вебера «Наука как призвание и профессия», прочитанный им зимой 1918 года в Мюнхенском университете. Вебер настаивал на том, что профессор не должен использовать кафедру для внушения своим слушателям собственной позиции, но он должен «заставить индивида — или по крайней мере помочь ему — *дать себе отчет в конечном смысле собственной деятельности*»¹⁰. В этом и состоит суть служения университетского преподавателя «нравственным силам».

Этот контекст неожиданного возрождения университетов в XIX веке следует помнить сегодня, когда требования профессионализации и коммерциализации образования и науки не только обретают весомость, но и фактически отменяют открытый Просвещением смысл университетского образования.

Неудивительно, что в XIX веке политическая жизнь получала от немецких университетов мощные импульсы, а избранный на волне революции 1848 года первый германский парламент вошел в историю как «профессорский парламент» (из 586 депутатов было 94 профессора, а 233 депутата получили университетское образование).

Впрочем, несмотря на особенности немецких университетов, роль профессорского сообщества в XIX столетии становится заметной не только в Германии. Французская рево-

люция сметает старое университетское образование. Университеты, оказавшиеся в зависимости от королевской власти и ордена иезуитов, находились во Франции в серьезном кризисе. В августе 1792 года они и вовсе были закрыты. Университетская корпорация восстанавливается лишь спустя несколько лет. 17 марта 1808 года все университеты Французской империи объединяются в государственную корпорацию Французского университета, а страна делится теперь на сорок учебных округов. Несмотря на централизацию и огосударствление университетского образования при Наполеоне, новое поколение профессоров начинает осознавать себя в качестве самостоятельной общественно-политической силы. Неслучайно Третью республику назовут «республикой профессоров».

Подобные тенденции характерны и для других стран. Испанская республика, установленная на несколько лет в 1931 году, получит название «республика интеллектуалов», поскольку ее происхождение будет связываться с деятельностью Вольного института просвещения¹¹.

Россия на этом фоне не выглядит исключением: сыгравшая принципиальную роль в событиях 1917 года партия кадетов была в значительной степени партией университетской профессуры, отстаивавшей, подобно своим европейским коллегам, либеральные идеалы и ценности только еще формирующегося в России «среднего класса».

Однако, несмотря на тот факт, что мощный импульс в развитии университетского образования в России хронологически почти совпадает с возрождением университетов в Европе, не следует забывать, что новые европейские университеты создавались не с чистого листа. За ними стояла многовековая история. И в этом состоит существенное отличие европейских университетов от российских. После нескольких столетий кризиса европейские университеты наполняли новыми просветительскими идеалами те организационные формы, которые были известны еще с XI–XII веков.

Поэтому особенности гумбольдтовского университета вряд ли могут быть объяснены без учета этой исторической эволюции европейской университетской традиции. Несмотря на некоторое своеобразие, которое имели университеты, возникавшие в различных частях Европы, общим у них было происхождение. Они рождались в городской культуре с присущими ей гарантиями автономии частной жизни и преимущественно рациональным типом поведения. Как для горожанина для профессора было характерно рациональное поведение в противовес страху, зависимости и желанию опереться на авторитеты¹². Первые университетские корпорации со своими этическими нормами поведения, стимулами и мотивами деятельности, системой поощрения и порицания возникали с XI–XII вв. Жак Ле Гофф отмечает, что в XII веке в сфере образования центр тяжести перемещается от монастырей к городам. И городские школы с тех пор опережают монастырские¹³.

Следует заметить, что город в истории России не сыграл той роли, которая была присуща ему в европейской истории. В Европе город, по словам Макса Вебера, становится *«местом перехода из несвободного состояния в свободное»*¹⁴. История российских городов, напротив, в значительной степени была отмечена влиянием властных отношений: столичные города процветали, а провинциальные приходили в упадок. И хотя европейская история также знает расцвет одних городов и упадок других, город там изначально представлял собой самодостаточное явление, созданное усилиями саморегулирующихся сообществ. Именно в городе концентрировались силы, развивающие европейскую культуру.

В средневековой Европе всякое локальное сообщество (купеческая гильдия или ремесленный цех) назывались universitas (например, universitas civium — городская корпорация, коммуна). Отсюда произошло и понятие universitas stadii. Возникшие в условиях средневекового корпоративно-го строя университеты сами представляли собой саморегу-

лирующиеся корпорации. Они обладали административной автономией, собственной юрисдикцией, имели свои уставы, которые регламентировали всю жизнь университета, вплоть до одежды и традиционных оборотов речи. Университетские корпорации делились на факультеты, которые фактически имели форму средневековых цехов с подразделением на «мастеров» (*magistri* — на низших факультетах и *doctores* — на высших), «подмастерьев» (*baccalaurei*) и «учеников» (*scholares*), с обычным для того общества цеховым разделением труда, цеховыми испытаниями и цеховыми свидетельствами¹⁵. Объединение профессуры в корпорацию объясняется тем, что многие профессора в городе были пришлыми людьми и не пользовались правами граждан, а в средневековой Европе это было равносильно бесправию. Только в корпорации средневековый человек мог чувствовать себя защищенным. Ученая степень была своеобразной лицензией на право преподавания в любом месте Европы без нового экзамена. Этот факт придавал университетским корпорациям наднациональный характер. Они не были зависимы от местного прихода, монастыря или города, как, например, монастырские, соборные, городские школы. К тому же средневековая наука во всех странах латинского влияния была едина и преподавалась одинаковым способом, на одном (латинском) языке.

Уже первые университеты стали очагами свободомыслия и еретических идей, связанных с городской культурой и бюргерской оппозицией феодальному порядку и официальной католической церкви. Европейские профессорские корпорации в своем историческом развитии переживали все те изменения, которые затрагивали городскую культуру в целом, в том числе и в Новое время. Распространявшиеся протестантские идеи поощряли проявление самостоятельности и предприимчивости, а в общественном сознании доминирующее значение приобретали принципы автономии личности, защиты ее прав и свобод. Все эти изменения

на сознании европейской университетской профессуры отражались с неодинаковой силой в различных регионах Европы. Но в целом прежний идеал образованного человека, владевшего античными языками и умевшего писать стихи на латинском языке, существенно трансформировался и становился более светским. Со второй половины XVII века профессора сбрасывают церковную одежду (береты и длинную темную мантию, иногда отороченную мехом), с них снимается запрет жениться. Теперь они подражают в костюме привилегированным сословиям, а новая европейская наука основывается не на богословских догмах, а на опыте и рационализме. И хотя расцвет первых европейских университетов после эпохи Ренессанса сменяется упадком (интеллектуальная жизнь и культурное развитие европейских обществ обретает, скорее, внеуниверситетские формы), в XIX веке профессорское сообщество оказывает в самом центре гражданской и политической жизни.

3.

Ретроспектива появления и воплощения проекта демократии дополняется весьма любопытными акцентами, если ее рассматривать на фоне истории социально-гуманитарных наук и университетского образования. Оказывается, что эти три истории (история демократии, история социально-гуманитарного знания и история университета) связаны настолько тесно, что отделить одно от другого можно лишь умозрительно. Для расцвета первого требуется развитие второго и третьего. И наоборот. Блистательный взлет социально-гуманитарных наук и их нынешний кризис происходили синхронно с расцветом и упадком идеи национального университета и динамикой воплощения принципов демократии.

Модель национального университета, сложившаяся в европейских странах в XIX веке и перенесенная тогда же в Россию, представляет собой продукт просветительского

проекта модерна, направленного на построение светского демократического государства с рыночной экономикой, конституционной идеей, парламентаризмом, широким участием граждан в общественной и политической жизни. Этот проект основывался на доминировании научного мировоззрения, в рамках которого шли поиски наиболее оптимальных моделей организации свободного и справедливого общества, эффективной экономики, рациональной политической системы. Достижения естественных наук также укрепляли классическую картину мира, в которой демократические идеалы представлялись наиболее адекватными.

Крейн Бринтон, написавший историю западного образа мысли, полагает, что современная демократия — «сила весьма юная, все еще растущая и пробивающаяся наружу в мире, издавна привыкшему к совсем иным устоям». И хотя он признает, что «кое-что из нашего демократического наследия действительно имеет очень древние корни, столь же древние, как греческая или иудейская культуры», его призыв «не старить нашу демократию» вполне обоснован¹⁶. Действительно, противоречивое, но все более очевидное воплощение принципов демократии — дело всего лишь нескольких последних столетий. Но не стоит старить и социально-гуманитарные науки. В них, разумеется, есть многое, что росло даже не веками, а тысячелетиями, если иметь в виду античные истоки. Но свои дисциплинарные очертания социально-гуманитарное знание обретает лишь в XIX и XX веке. Так же и университетское образование, развивавшееся в Европе с начала второго тысячелетия и оказавшееся в Новое время в весьма плачевном состоянии, второе рождение испытывает лишь в XIX веке.

Для исследователя истории систем мысли в этом совпадении таятся весьма значимые вопросы. Чем вызвано это совпадение? И почему возрождение университетов начинается именно в Германии?

Ответ на эти вопросы следует искать в эволюции самосознания немецкой культуры, происходившей на фоне изме-

нения всего европейского образа мысли в Новое время. Раздробленные немецкие земли, еще более осознавшие свою уязвимость в годы наполеоновских войн, не имели иных оснований для своего единства, кроме эстетической и интеллектуальной жизни — жизни, в которой индивидуальная экспрессия обретает особую ценность, поскольку именно она является проявлением универсального духа. Немцев в те годы не могли объединить ни государство, ни политика, ни армия. Основой единства могли стать лишь музыка Моцарта, поэзия Гёте, философия Канта и тот дух, о котором с университетской кафедры будет говорить Гегель. Поэтому доминирующим становится идеал развития, предполагавший, что совершенство реализуется посредством творческой активности свободной личности, через образование и возвышение эстетической жизни. К концу XVIII века в немецкой культуре возникает внятное осознание ценности индивидуального мира личности. В «Страданиях юного Вертера» Гёте создает богатый внутренний мир молодого романтика, отделенный от его циничного и холодного окружения. Примерно в то же время ученик Канта Гердер пишет четыре тома «Идей к философии истории человечества», в которых проводит мысль об индивидуальности развития каждой личности и каждого народа, по-особому реализующих общую судьбу. Гердер говорит о необходимости нравственного и политического воспитания целых народов, дополняя тем самым программу Канта, верившего в наступление века Просвещения, когда человек и человечество обретут свое совершеннолетие и будут самостоятельно пользоваться собственным умом без ссылок на меркнувшие авторитеты.

И еще одно совпадение. Тогда же в самосознании европейской культуры происходит весьма важный для проекта социально-гуманитарных наук поворот. Европейская культура «изобретает» общество как самостоятельную реальность, расположенную в пространстве между индивидом и

государством. Осознание общества как автономной и целостной реальности и как предмета социальных наук происходит примерно в период между публикациями книг Шарля Луи Монтескьё «О духе законов» в 1748 году и Эмиля Дюркгейма «Правила социологического метода» в 1895 году. Именно в этот период французское слово *société*, означавшее чаще всего либо светский *monde*, либо добровольное объединение людей, обретает более абстрактное и универсальное значение, объединяющее в себе сферы политики, экономики, права, этики, эстетики и т.п. Аналогичные изменения происходят и в англоязычной традиции, где смысл слова *society* так же становится более универсальным (ранее это слово обозначало гражданское общество или элиту и, как правило, исключало из своего смыслового пространства понятие «народ»).

В этих интеллектуально-эстетических и общественно-политических контекстах Вильгельму фон Гумбольдту удается убедить прусское правительство в том, что студенты, обучающиеся любым профессиям, помимо знаний и навыков в областях их будущей деятельности, должны изучать также и социально-гуманитарные науки. И если ранее философские факультеты имели относительно невысокий престиж, то теперь они приобретали равный и даже более высокий статус, чем факультеты права, медицины и теологии. Только в одном Берлине Фихте и Гегель в философии, Нибур в истории, Савиньи в юриспруденции создают прецедент обретения высокого личного статуса именно благодаря авторитету в своих областях знания. Знания о человеке и обществе из сферы публицистических дебатов об управлении общественной жизнью перемещаются в совершенно иное интеллектуальное пространство. Они становятся частью университетского образования и оформляются в научные и учебные дисциплины со своей специализированной аудиторией¹⁷.

Идеал гумбольдтовского университета выражал этические и эстетические принципы такого типа образования,

при котором каждый элемент вносит свой вклад в поиски добра, истины и красоты. Освоение навыков будущей профессии не представляет собой основную цель университета, как часто думают. Его миссия состоит в обучении человека свободному и публичному использованию своего автономного разума. Именно фундаментальное знание и бескорыстный научный поиск, свободный от простой практической необходимости, формирует идентичность университета¹⁸. Этот идеал стал источником апологии самооценности университетского образования и последующей экспансии университета в другие страны¹⁹. Так происходит встраивание возрожденного идеалами Гумбольдта университета в институциональную среду общественного и гражданского развития. Разумеется, этот процесс в разных странах не может протекать синхронно и будет зависеть от состояния общества, политического режима и других факторов.

В России, где подъем университетов начинается уже со второй четверти XIX века, потенциал гумбольдтовского проекта нашел свое яркое проявление в широкой просветительской деятельности, гражданской и политической активности университетской профессуры. Очевидно, что эти нежелательные для самодержавия последствия развития университетского образования власть пыталась сдерживать всеми силами. И под ударом прежде всего оказывались социально-гуманитарные науки.

Например, революционные события в Европе 1848 года самым непосредственным образом сказались на положении университетов в России, которые пережили сокращение социально-гуманитарных дисциплин. Симптоматично, что первый удар был нанесен по курсам государственного права европейских стран. Они были запрещены в ноябре 1849 года. Следующими пострадали философские курсы. С начала 1851/52 учебного года из университетской программы были изъяты теория познания, метафизика, нравоучительная философия и история философии. Университетский

курс философии теперь включал лишь логику и опытную психологию, которую по предложению самого Николая I должен был читать профессор богословия²⁰.

Разворачивая свое наступление на университеты, власть пыталась найти своих сторонников среди профессоров, играя на противоречиях в их среде. В числе профессоров, симпатизировавших изобретенной для поддержки режима графом Сергеем Уваровым формуле государственной идеологии, воплотившейся в триаде «православие, самодержавие, народность», в Санкт-Петербурге были профессора Адам Фишер, Никита Бутырский, Степан Ивановский, Николай Устрялов, а в Москве — Иван Давыдов, Михаил Погодин, Степан Шевырев. Разумеется, многие из них (такие как Михаил Погодин и Степан Шевырев), были уваровцами не ради карьеры, а по убеждению. Они вполне искренне защищали «исконные устои» и неодобрительно относились к западным веяниям.

Иное дело профессор Московского университета Иван Давыдов. Его история весьма характерна. Он обладал явными талантами и начинал как серьезный исследователь. Однако ему пришлось пережить запрещение своего курса, из чего он сделал вполне логичные в той ситуации выводы. Вернувшись на кафедру, курс свой, получивший в университетской среде прозвание «Ничто ни о чем, или Теория красноречия», профессор Давыдов читал с полным к нему равнодушием²¹. В профессорских кругах осуждалось и такое его качество, как склонность к лести. Однажды в присутствии графа Уварова Давыдов произнес: «Если он сказал что-нибудь хорошее, то обязан этим не себе, а присутствию его высокопревосходительства: сам он только Мемнова статуя, возбуждаемая лучезарным солнцем». По этому поводу профессор Александр Никитенко заметил в своем дневнике: «А ведь и тот и другой слынут за умных людей»²².

Однако справедливости ради следует заметить, что даже в те непростые для российских университетов годы профес-

сура имела относительную свободу в своей научной и преподавательской деятельности. Например, в Санкт-Петербургском университете социально-гуманитарные науки преподавали профессор Михаил Куторга, Виктор Порошин, Измаил Срезневский, известные своей независимостью. Виктор Порошин даже умудрялся в сочувственном плане излагать с кафедры учение французских утопических социалистов. Любопытно, что этот факт был некоторое время неизвестен начальству и открылся лишь в связи с арестом петрашевцев. Тогда у одного из студентов, входивших в кружок Михаила Буташевича-Петрашевского, были обнаружены две тетради записей лекций Порошина по политэкономии. Против профессора в деле имелись и другие улики. Так, один из его студентов рассказывал, что Порошин однажды на лекции назвал Александровскую колонну «столбом столба столбу»²³. Впрочем, профессор Порошин еще в 1847 году перебрался в Париж.

Социально-гуманитарные дисциплины оказывались жертвами чиновников еще не раз. В период консервативной реакции, последовавшей вслед за трагической гибелью царя-реформатора Александра II, принимается новый университетский устав 1884 года, радикально ограничивающий права университета. Но наиболее тяжелыми последствиями этого устава стали для социально-гуманитарных наук. Воспоминания российского филолога, студента тех лет Сергея Жебелева, ставшего в 1904 году профессором Санкт-Петербургского университета, хорошо передают суть произошедших перемен: «Из всех университетских факультетов факультеты историко-филологические были затронуты уставом 1884 г. наиболее чувствительно. Строго говоря, эти факультеты как таковые были тогда упразднены, и сохранено было только одно их прежнее наименование... Казалось, из историко-филологических факультетов хотели создать своего рода оранжереи, где должна была культивироваться не вся историко-филологическая наука, а должна была рас-

цветать и процветать лишь одна из дисциплин ее. Дисциплиной этой должна была стать классическая филология, понимаемая, опять-таки, не строго научно, а под определенным углом зрения; т.е. председатель ученого комитета министерства народного просвещения А.И. Георгиевский мечтал создать из историко-филологических факультетов продолжение классических гимназий»²⁴. Действительно, что может быть более остроумным: замена живой науки изучением мертвых языков способно отвлечь от образования кого угодно.

Неслучайно Антон Чехов героем своего знаменитого рассказа «Человек в футляре» делает именно преподавателя греческого языка Беликова. У этого чеховского героя «наблюдалось непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний». И мысль свою он также старался запрятать в футляр, обращая внимание лишь на циркуляры и газетные статьи, в которых что-нибудь запрещалось. Устав 1884 года ставил своей целью воспитание именно такого типа интеллигента, который вечно боится «как бы чего не вышло». Чеховский образ Беликова появляется почти через полтора десятилетия после принятия этого устава, когда плоды наступления на социально-гуманитарные науки обретают вполне очевидные последствия.

Но если семена свободы уже посеяны, вытоптать их не так просто. И эти семена давали всходы даже на почве классической филологии. Преподававшие классические языки профессора воспринимали филологию как научную дисциплину, а не как придуманный чиновниками особый «педагогический прием», целью которого является «обуздание» и «смирение». Научное сообщество просто игнорировало замысел чиновников. И затея правительства, грозившая уничтожить историко-филологическое образование, которое с большим трудом наладилось к 1880-м годам, провалилась. По словам профессора Жебелева, «осуществлению этой затеи положена была могучая преграда тогдашни-

ми деятелями историко-филологических факультетов; ...они, как профессора, были тем, чем и должен быть профессор прежде и главное всего — истинными жрецами науки, преданными сынами ее»²⁵.

* * *

Российская и европейская ретроспективы развития университета и формирования профессорского сообщества как относительно целостного и заметного субъекта гражданской жизни позволяют сделать весьма любопытные наблюдения. Университеты, которые в Европе существовали с XI века, а в России — с XVIII, к началу XIX века оказываются в руинах практически повсеместно. Удивительно быстрый и яркий подъем университетского образования сначала в Германии, а затем и в других странах связан с новым пониманием университетского духа. Открытие пространства свободы университетскими интеллектуалами происходит в результате совпадения трех процессов. Это переосмысление сущности университета, оформление дисциплинарной структуры социально-гуманитарного знания и конкретизация идеи демократии. Все три процесса являются прямым следствием осознания ценности индивидуальной личности и «изобретения» общества как целостной и автономной реальности. И Россия в этом процессе не выглядит исключением. Развитие российских университетов, начиная со второй четверти XIX века, происходит на фоне раскрепощения интеллектуальной и общественной жизни. Гражданская активность российской профессуры становится заметным явлением, даже несмотря на непоследовательность политики правительства в отношении университетских свобод и тот факт, что образованный слой оставался в России критически тонким.

*Рождение «ученого сословия»:
опыт социальной сети
поверх сословных границ*

Немногочисленное, но весьма заметное сообщество университетских интеллектуалов в России XIX века оказалось перед весьма непростым выбором. Один из возможных путей, открывающихся перед университетским профессором, состоял в следовании тем правилам, которые характерны для сословного общества и адаптированы к нуждам самодержавия. Это, казалось бы, было логично, поскольку именно нужды режима привели к рождению российских университетов. И среди профессуры были те, кто выбрал путь, соответствовавший охранительной политике власти. «Вспомните, что Катков, Победоносцев, Вышнеградский — это питомцы университетов, это наши профессора, отнюдь не бурбоны, а профессора, светила...», — писал в одном из своих писем Чехов¹. Однако этот путь не согласуется с характерным для служителя науки образца XIX века этосом, основанном на ценностях Просвещения. Альтернатива состояла в осознании университетскими интеллектуалами собственной уникальности и уникальности того дела, которому они намеревались посвятить свою жизнь.

Впрочем, если быть более точным, для большинства университетских преподавателей этот выбор был предопределен культурными особенностями университетской среды: по мере становления профессорского сообщества оно неизбежно выпадало из привычной для российского общества среды. Современники воспринимали профессоров как особое «ученое (или университетское) сословие»².

Но профессиональная группа университетских преподавателей была внесословна и, строго говоря, не могла именоваться «сословием» в традиционном понимании этого слова. Сословное происхождение имело второстепенное значение в карьере профессора. Если словосочетание «ученое сословие» появилось, то лишь потому, что университетских преподавателей тогда воспринимали как целостную, вполне определенную, хотя и немногочисленную группу. Эта группа заметно выделялась на общем фоне. Необычные для сословного общества принципы ее формирования были далеко не единственным ее отличием. В бюрократической России университеты добились существенной автономии, и назначение на преподавательские должности было поставлено в зависимость от выборов, а не от привычных бюрократических интриг. Более того, в условиях господства цензуры университеты и профессора имели право выписывать любую литературу из Европы, которая не проверялась на таможне. К тому же в стенах университета профессор мог чувствовать себя относительно свободно: устное слово, хотя и подвергалось стеснениям, все же было менее скованно цензурой, чем печатное...

Этого вполне достаточно, чтобы сделать вывод об уникальности положения университетских ученых.

1.

Почему идеальные черты первообраза российского профессора формируются именно в середине и второй половине XIX века? Ведь первые университеты открываются в России еще в XVIII веке, а мы знаем имена российских ученых и более раннего времени. Разумеется, объяснение этому можно найти в изменении общественной и культурной ситуации в стране. XIX век характеризуется взлетом национального самосознания, проявившегося в рождении классической литературы и светского богословия, развитии

социальной и философской мысли. Но не менее важными оказываются и те существенные трансформации, которые переживает само университетское сообщество: на смену старой форме университета приходят новые представления, вдохновленные гумбольдтовской идеей национального университета.

Поэтому открытие российских университетов и формирование «ученого сословия» — это тесно связанные между собой, но все-таки две разные истории. Первая почти полностью определяется правительственной политикой, а вторая является результатом действия весьма разнообразных факторов.

Формально начало развития университетского образования в России было положено еще в 1724 году. Сенатский указ объявил тогда не только об основании Академии наук, но и об открытии университета в Санкт-Петербурге. Впрочем, университет тогда просуществовал недолго и вновь был открыт лишь в 1819 году. Следующий серьезный шаг в этом направлении был предпринят по прошествии чуть более тридцати лет. В январе 1755 года был открыт Московский университет.

Спустя еще почти полвека, в годы реформ Александра I, в университетском вопросе наблюдается новое оживление. В 1802 году императором учреждается министерство народного просвещения, и разработка проекта всех звеньев системы образования концентрируется в комиссии об училищах, которая позднее переименовывается в главное правление училищ. В разработанных этой комиссией «Предварительных правилах» предусматривалось, кроме открывшихся уже университетов в Москве (1755), Дерпте (1802), Вильно (1803), основать университеты в Санкт-Петербурге, Казани и Харькове. Предполагалось создать шесть учебных округов, научными центрами которых должны были стать университеты, получавшие автономию, право контроля над всеми учебными заведениями округа и

право цензуры над всеми выходящими здесь изданиями. Университеты в Казани и Харькове были открыты на базе гимназий без долгих замешательств — уже в 1804 и 1805 годах соответственно.

Ситуация в Санкт-Петербурге была иной. С открытием университета здесь не торопились, хотя база учительской гимназии имела все черты высшего учебного заведения, в отличие от гимназий в Казани и Харькове. Эта гимназия была преобразована в Педагогический институт, названный «отделением имеющего учредиться в Санкт-Петербурге университета»³. Но само это учреждение явно затягивалось. Причина, видимо, в том, что главное правление училищ стремилось сохранить за собой непосредственный контроль над ситуацией в Санкт-Петербургском учебном округе. Если это так, то тогда еще более удивительно выглядит та лихорадочная поспешность, с которой создается Санкт-Петербургский университет спустя полтора десятилетия после решения о его открытии — в 1819 году. Учреждение университетов в тот период было исключительно делом государства, поэтому объяснение этой поспешности (так же как и предшествующих ей проволочек) может быть вполне банальным — бюрократические интриги.

В частности, свою роль сыграли интриги нового министра духовных дел и народного просвещения Александра Голицына против графа Уварова, который был в те годы попечителем Санкт-Петербургского округа. Князь Голицын, занимавший одновременно посты руководителя Библейского общества и обер-прокурора Синода, после последовавшей 10 августа 1816 года отставки министра народного просвещения Алексея Разумовского занимает его должность, сохраняя все свои предыдущие посты. Министерство народного просвещения естественным образом преобразуется в министерство духовных дел и народного просвещения, что отражает весьма характерный синтез вопросов религии и образования, происходящий в

головах министерских чиновников. Не следует забывать, что это было время отказа императора от своих же реформ, проводившихся в первый период его царствования. Теперь Александра I окружали, в основном, люди более консервативных взглядов. Трансформация министерства, возглавляемого Голицыным, весьма показательна. И неслучайно именно при нем это министерство обрело славу «министерства затмения».

История открытия университетов в России растягивается почти на сто лет, которые прошли между первым указом об открытии Санкт-Петербургского университета в 1724 году и принятием системных мер по подготовке профессорских кадров. И вся эта история сопровождается бесконечными интригами, непоследовательностью политики правительства, особенно в столичном округе, и весьма очевидным соседством явной потребности в развитии университетского образования и нежеланием власти идти на последовательные меры, которые способны были бы вызвать реальные перемены.

Однако правительственные меры по учреждению университетов — это лишь одна сторона вопроса, имеющая значение ровно в той степени, в какой может быть важным создание формы для последующего наполнения ее живым содержанием. Это содержание создается по мере обретения «ученым сословием» собственной идентичности, внутренней солидарности и веры в преобразующую силу знания. И лишь в этот момент университеты становятся реальными центрами научной и общественной жизни.

В первые десятилетия XIX века система подготовки профессорских кадров еще не была отлажена, уровень преподавания оставался низким. По словам Александра Герцена, «профессора читали и не читали, студенты ходили и не ходили»⁴. Преподавателей Московского университета начала XIX века он разделял на «два мирно ненавидевших друг друга стана»: немцев и «не-немцев». Любопытно, что в

течение XVIII века в Московском университете работало только два русских профессора. Это профессор математики и красноречия Антон Барсов (1730–1791) и профессор философии и элоквенции (красноречия), ученик Ломоносова Николай Поповский (1730–1760)⁵.

Немцы, среди которых были люди весьма талантливые, отличались незнанием русского языка. Среди профессоров, как замечал в своей «Записке о древней и новой России» Николай Карамзин, «много достойных людей, но мало полезных; ученики не понимают иностранных учителей»⁶. Профессор Христиан Шлёцер, сын известного академика, оставившего блистательный труд о русской истории, трижды менял язык для удобнейшего чтения лекций. «Сперва пробовал начать преподавание по-немецки, — все слушатели в один голос сказали, что они вглядь ничего не понимают; потом по-латыни, — студенты повторили то же, а профессор убедился сам, что науку новую преподавать на древнем языке было бы и для него неодолимым затруднением, поневоле надобно было взяться за русский язык, которым профессор не владел и на каждой лекции смешил нас злоупотреблением уменьшительных, приводя в примеры “скотиков, мужичков, сенца, лошадок и проч.”», — вспоминал студент тех лет Дмитрий Свербеев, ставший впоследствии чиновником и общественным деятелем, симпатизировавшим славянофилам⁷.

Другая часть профессоров — «не-немцы» — сильно зависела от влияния духовных академий, из которых она вышла. Писатель и переводчик Егор Тимковский, например, вспоминал, что в годы его студенческой жизни в некоторых профессорах «отражался дух келий и лампы, как на языке, так и на одежде и самом образе жизни»⁸. Неслучайно один из студентов даже называл «допожарного» (то есть до московского пожара 1812 года) ректора Ивана Двигубского «отец ректор». Даже среди талантливых и ярких профессоров были люди, далекие от науки. Необыкновенной остроты ума

профессор гражданского и уголовного судопроизводства Сандуров «не имел никакого научного образования и, вероятно, вследствие крайнего незнания науки права, вообще отвергал самую науку и при всяком удобном случае выражал к ней свое презрение»⁹. К тому же для занятия наукой у профессоров просто не было времени. «Лучшие профессора, коих время должно быть посвящено науке, занимаются подрядами свеч и дров для университета! В сей круг хозяйственных забот входит еще содержание ста, или более, училищ, подведомых университетскому совету. Сверх того, профессора обязаны ежегодно ездить по губерниям для обозрения школ... смешно и жалко видеть сих бедных профессоров, которые всякую осень трясутся в кибитках по дорогам!» — писал Николай Карамзин¹⁰.

Обновление в среде профессоров в Московском университете шло медленно и неравномерно по факультетам. Даже в 1830-е годы оставалось много профессоров «с начала века», забавлявших студентов «своей оригинальностью и разными причудами». Страницы студенческих воспоминаний о том времени пестрят забавными сценами срыва лекций или «сопенья, а потом и храпенья то в том, то в другом углу обширной аудитории». И вряд ли эти картины соотносятся с той ролью, которую всего несколько лет спустя будет играть Московский университет в российском обществе.

Иная обстановка была в Санкт-Петербургском университете, где преподавали профессора, приглашенные из Австро-Венгрии, преимущественно из Венгрии и Галиции (Михаил Балугьянский, Петр Лодий, Василий Кукольник). Вскоре среди преподавателей появились и лучшие воспитанники Педагогического института (Александр Галич, Моисей Плисов, Александр Куницын, Дмитрий Чижов). Многих из них объединяли ярко выраженные просветительские взгляды. Однако серьезный ущерб профессорскому корпусу был нанесен в результате так называемого разгрома Рунича в 1821—1822 годах. Министр духовных дел и

народного просвещения Голицын и его окружение (прежде всего Дмитрий Рунич и Михаил Магницкий) требовали от профессуры считать основой всех наук Священное Писание. Любопытно, что против этого требования выступал будущий создатель известной идеологемы «православие, самодержавие, народность» граф Уваров. Он считал, что таковой основой должны стать классические языки. На фоне этих интриг и развернулись масштабные репрессии против столичной профессуры.

Начало им положило так называемое дело Куницына. Рунич утверждал, что в книге Куницына «Естественное право» излагается учение, которое является «не только опасным, но и разрушительным в отношении к основаниям веры и достоверности Святого писания». Профессор Куницын действительно высказывал идеи общественного договора и критиковал крепостническую систему, которую считал неэффективной. Однако он не ставил под сомнение основания веры и не высказывал революционных идей, как это утверждал министерский чиновник. Эта история послужила для Александра Пушкина поводом обратиться к цензуре следующие строки:

А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами?
Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами;
Не понимая нас, мараешь и дерешь;
Ты черным белое по прихоти зовешь;
Сатиру пасквилем, поэзию развратом,
Глас правды мятежом, Куницына Маратом¹¹.

В марте 1821 года Куницын покинул университет и вернулся в него только через 27 лет. Должность попечителя вынужден был оставить и граф Уваров, которого сменил Рунич. Теперь у Рунича были все возможности расправиться с неугодными профессорами. Он запретил лекции Карла Германа, Эрнста Раупаха, Александра Галича. На основании студенческих конспектов новый попечитель сделал вывод о

несоответствии их лекций Священному Писанию. Опальные профессора были даже обвинены в принадлежности к сообществу, сознательно подрывающему государственный порядок. Часть профессуры и ректор Балугьянский пытались задержать развитие этого дела, которое известно как «дело университетских профессоров». Однако сопротивление потерпело поражение. Ректор подал в отставку и сам оказался в числе обвиняемых, круг которых Рунич успел расширить. По свидетельству журналиста и писателя Николая Греча, «профессоры университета разделились на две стороны — белую и черную. На белой были Балугьянский, Лодия, Бутырский, Плисов, Шармуа, Деманж, Грефе, Чижов, Соловьев, Вишневский, Ржевский, Радлов и директор училищ Тимковский. На черной: Дергунов, Зябловский, Толмачев, Рогов, Попов и Щеглов. Первые придерживались своего мнения и выражали оное по искреннему убеждению, по долгу правды и чести; последние по зависти, подлости, трусости и желанию выслужиться у гнусного начальства»¹².

Многие профессора были изгнаны из университета, а оставшиеся должны были руководствоваться инструкцией Магницкого, которую тот разработал для Казанского университета. В ней речь шла о воспитании покорности, недопустимости вольнодумства и усилении влияния церкви в преподавании философии, исторических наук и литературы. Сам университет был переведен из здания 12 коллегий в более тесное помещение, где и ютился до 1838 года. Рунич набрал новые кадры и увенчал их высшими званиями. Однако, как заметил профессор Василий Григорьев, из них «не было, за исключением Сенковского, ни одного, которые бы в знаниях и способностях своих по специальности, ими на себя принятой, заявили чем-нибудь в ученном мире». Но было и более серьезное следствие разгрома Рунича: молодые воспитанники, оставленные при университете, по свидетельству того же Григорьева, были «потрясены и пришиблены разгромом и вслед за тем виденным и испытанным до

такой степени, что никогда в жизни, даже и при благоприятной перемене обстоятельств, не могли уже очнуться, чтобы думать не по заданной программе и действовать не по чужой указке»¹³. Разгром Рунича был одним из первых столкновений пока еще только формирующегося, но уже стремившегося к автономии профессорского сообщества с чиновничеством, пытавшимся эту автономию ограничить.

Несмотря на различие сюжетов в истории двух столичных университетов в первой четверти XIX века результат, к которому эти сюжеты привели, был схожим. Оба университета находились в плачевном состоянии и проблема преподавательских кадров стояла весьма остро. В этих условиях правительство решается на ряд мер по созданию системы подготовки российской профессуры. Важной частью этой системы стали поездки будущих профессоров в Европу. Это был поворотный момент в истории профессорского сообщества. Именно с этого времени профессура оформляется в профессиональную группу и начинает осознавать свою особую идентичность, связывавшую ее с ценностями Просвещения и европейской культурой.

Вскоре в Московском университете появляются молодые профессора, вернувшиеся из Германии. Среди них на историческом факультете были Тимофей Грановский, Арсений Меньшиков, Осип Бодянский, Владимир Печерин, Дмитрий Крюков, Александр Чивилев; на юридическом — Сергей Баршев, Василий Лешков, Петр Редкин; на медицинском — Николай Анке, Александр Армфельд, Федор Иноземцев, Алексей Филомафитский; на математическом — Михаил Спасский, Александр Драшусов¹⁴. Их появление существенным образом изменило обстановку, они сумели привить студентам любовь к науке. Для этих молодых профессоров наука становится источником не только альтернативных суждений по тому или иному вопросу, но и совершенно особого императива их практической деятельности. «В каком-то поэтическом упоении знанием и мыслью возвращались молодые

люди в отечество и сообщали слушателям одушевлявшие их идеалы, указывая им высшие цели для деятельности, зароня в сердца их неутолимую жажду истины и пламенную любовь к свободе, — писал Борис Чичерин. — Один Грановский мог быть славой и красой любого университета. Его поэтическая личность, его яркий талант, его высокий нравственный строй делали его самым видным представителем этой блестящей эпохи университетской жизни»¹⁵. Это упоение основывалось на «горячей вере в науку и людей», которую, по словам Александра Герцена, молодые профессора привезли с собою. И поэтому «они являлись в аудиторию не цеховыми учеными, а миссионерами человеческой религии»¹⁶. Служение науке теперь прочно связывается не только с ценностью знания, но прежде всего с идеалами гражданственности, нравственными нормами и новыми эстетическими и поведенческими установками. Даже когда говорили они о других странах или о прошлом, весь пафос их слов был направлен на преобразование российской действительности. Вспоминая Грановского, Василий Ключевский писал: «Грановский преподавал науку о прошедшем, а слушатели выносили из его лекций веру в свое будущее, ту веру, которая светила им путеводной звездой среди самых беспросветных ночей нашей жизни»¹⁷.

Даже беглое знакомство с воспоминаниями об университетах тех лет без труда приведет к обнаружению очевидных признаков произошедших перемен. Воспоминания о студенческих годах теперь больше связаны не с проделками во время лекций, а с картинами серьезной учебы, когда был слышен «только скрип перьев и ни малейшего шума»¹⁸. Некоторые из лекций вызывали такой восторг, что в аудитории раздавались аплодисменты, несмотря на существовавший запрет. Студенты первых курсов стремились занять места на первых рядах. «Как рано, бывало, приходили мы для того в университет! — вспоминал Афанасьев. — Иногда толпою ожидали, когда солдат отворит в определенное

время дверь аудитории, и тогда все наперебой бросались занимать места... Не успевшие занять места на передних лавках усаживались на ступенях профессорской кафедры, так что профессор постоянно был окружен толпой студентов с их тетрадами и чернильницами»¹⁹.

Эти перемены имели значение далеко не только для развития университетов и наук. Последствия были намного значительнее. Создававшиеся в бесконечных бюрократических интригах формы университетского образования наполнялись теперь особым содержанием. И дело развития университетов переставало теперь быть лишь вопросом власти. Новое «ученое сословие» становилось пусть и малочисленным, но активным и решительным субъектом истории российских университетов.

2.

Оформление отечественной профессуры в целостную профессиональную и социальную группу происходит относительно поздно, и сам этот факт существенным образом определил ее положение, в сравнении с европейскими коллегами. В европейских странах еще в Средние века профессорам удалось добиться не только своего признания со стороны государства, но и целого ряда университетских привилегий (судебного иммунитета, освобождения от воинской, постоянной, караульной повинностей, от податей, налогов, дорожных и таможенных пошлин, льгот при найме квартир). Причем эти привилегии были отражены в законодательстве европейских государств, начиная с *Autencika Nabita* Фридриха Барбароссы.

В XVIII веке российские ученые оставались вне «Табели о рангах». В 9-м классе «Табели» наряду с армейскими капитанами, бергмейстерами и сенатскими протоколистами упоминались и «профессоры при академии», но это был очень невысокий ранг. Только в начале XIX века в связи с приняти-

ем новых уставов для Академии наук (1803) и для университетов (1804) произошли некоторые изменения в статусе ученых: ординарные профессора были отнесены к 7-му классу, экстраординарные профессора, адъюнкты и преподаватели, начиная со звания доктора, — к 8-му, магистры — к 9-му²⁰. Эта профессиональная группа получает ряд прав и обязанностей, соответствующих своему положению. После 25 лет службы профессора могли получать пенсию в размере жалования.

По мере создания системы подготовки профессорских кадров и формирования профессорского сообщества становилось все более очевидным, что профессорский корпус выпадает из привычной для России сословной системы. Он формировался выходцами из разных сословий. Из мелкого и среднего дворянства вышли, например, Тимофей Грановский, Александр Бутлеров, Константин Кавелин, Борис Чичерин, Михаил Стасюлевич, Дмитрий Крюков, Петр Редкин, Степан Шевырев. Из среднего и низшего духовенства — Никита Крылов, Петр Кудрявцев, Константин Неволин, Сергей Соловьев и другие. Из крепостных — Михаил Погодин и Степан Усов²¹. Профессор Санкт-Петербургского университета Никитенко родился крепостным в имении Шереметевых и сумел освободиться лишь в 20 лет²². Целостные данные о сословном происхождении профессуры всех российских университетов отсутствуют, а существующие университетские биографические словари дают неполные сведения. В специальной литературе можно найти лишь данные по отдельным годам и университетам. Например, со ссылками на «Отчет о состоянии и действиях Московского университета в 1859/60 академическом и 1860 гражданском году», называются цифры, характеризующие происхождение профессоров на 1861 год. В тот год в университете работал 41 профессор. Из них дворян — 39%, из духовного звания — 24,4%, из обер-офицерских детей — 12,2%, из мещан —

10%, из разночинцев — 2 человека (почти 5%), из крестьян — 1 человек (почти 2,5%)²³.

В последующие десятилетия среди московской профессуры удельный вес выходцев из дворян и обер-офицерства вырастает, а доля выходцев из духовенства и мещан сокращается. Эту тенденцию можно объяснить тем, что первоначально преподавание считалось делом, недостойным благородных сословий. Дворяне предпочитали чиновничью и военную карьеру. Но по мере развития университетов и обретения потребности в образованных людях повышался и престиж наук.

Весьма необычным для сословного общества был тот факт, что, выбирая путь научных исследований и профессорской службы, человек неизбежно оказывался в культурной и интеллектуальной среде, сформированной выходцами из разных сословий. Система координат, характерная для сословного общества, переставала работать, и возникала потребность в выборе новой точки отсчета. Любопытно, что выходцы из «низших» сословий, поднимаясь на ступень выше, обычно с большим рвением защищали устои сословного общества. Примером могут служить профессора Михаил Касторский, Михаил Погодин, Николай Устрялов. Выходцы из дворян, наоборот, острее воспринимали попытки правительства ограничить университетскую автономию или усилить цензуру и сохраняли оппозиционные по отношению к правительству настроения.

Несмотря на социальную и национальную неоднородность профессорского корпуса, различия в речи и манере поведения постепенно стирались. Современники воспринимали профессуру как обособленную социальную группу, нарушавшую границы сословных делений. Это сообщество было автономно в социальном плане уже по характеру своей деятельности. И не только в том социологическом смысле, что оно занимало особое место как субъект специализированной профессиональной деятельности в системе разделе-

ния труда. Это особое «ученое сословие» было автономно еще и в том смысле, что результаты его деятельности должны были оцениваться согласно внутренним стандартам и критериям, независимо от возможного «внешнего» практического эффекта. Динамика развития науки обусловлена ее собственной внутренней логикой, а именно логикой решения проблем, генерирующих, в свою очередь, новые проблемы. В этом смысле научное знание, которое производится сообществом исследователей, оказывается самоценным. С 1830-х годов российские университеты сами начинают присуждать ученые степени доктора и магистра (такой порядок двойного испытания на высшую степень был характерен именно для России). Значительная часть диссертаций в эти годы защищается в Санкт-Петербургском университете, где многие диссертанты были воспитанниками университета.

Автономный характер «ученого сословия» заставлял профессоров собственными усилиями отстаивать незыблемость внутренних норм и представлений о чести сообщества. Одним из первых, но далеко не единственным примером борьбы за корпоративную честь является инцидент с профессором римского права Никитой Крыловым, произошедший в Московском университете. Профессор Крылов, как его характеризовал Борис Чичерин, был «умным и даровитым», но «лишенным всякого нравственного смысла». Уважением в профессорской среде он не пользовался, несмотря на свои блистательные дарования. За ним закрепилась репутация взяточника, кроме того «он пил запоем». К тому же с ним случилась скандальная семейная драма, которая получила широкую огласку. И хотя несколько лет спустя супруги снова съехались, Крылов вел себя так, что потерял уважение коллег. Эта история интересна, разумеется, не подробностями личной жизни профессора Крылова, а фактом серьезной дилеммы относительно защиты корпоративной чести, вставшей перед профессорским сообществом. Мнения разделились: часть профессоров считала, что

семейная драма — дело частное, не имеющее к университету никакого отношения, а взяточничество Крылова доказать практически невозможно. Но весьма показательно, что победило мнение, согласно которому «университетская корпорация, только оставаясь нравственно чистой и не терпя внутри себя прокаженных членов, может сохранить вполне свое значение и свое влияние на молодежь»²⁴.

В этой истории любопытна и позиция власти. Министерству было заявлено, что если Крылов не уйдет из университета, то профессора Грановский, Кавелин, Редкин и библиотекарь университета Евгений Корш подадут в отставку. Министр поддержал Крылова, и три наиболее авторитетных в университетской среде ученых сдержали свое обещание. Лишь отставку Грановского не приняли, поскольку он не выслужил еще обязательный срок после поездки в Европу за казенный счет. Попечитель Московского университета, видимо, склонялся на сторону протестующих профессоров и сам вскоре оставил университет. Несмотря на то что Крылов в итоге не стал пострадавшим, эта история весьма симптоматична. Она свидетельствует не только о явном стремлении к защите корпоративной чести, но и о расхождении по этому вопросу между значительной частью университетского сообщества и властью в лице министерства.

В будущем коллективные действия университетских интеллектуалов станут более массовыми и приобретут еще большую убедительность. Когда в 1911 году министр народного просвещения Лев Кассо расправится с руководством Московского университета, протестовавшим против нарушения университетской автономии, более 130 профессоров и преподавателей подадут в отставку. Среди них будут такие заметные фигуры, как Климент Тимирязев, Петр Лебедев, Сергей Чаплыгин, Николай Зелинский, Михаил Мензбир, Николай Кольцов, Павел Сакулин. А академик Андрей Марков, отстаивая интересы развития науки и протестуя против произвола самодержавия в отношении университе-

тов, выступил даже против участия Академии наук в праздновании 300-летия дома Романовых²⁵. Позиция «ученого сословия», его сплоченность и последовательность отразились в этих событиях вполне очевидно.

3.

Ситуацию в России, по словам Исаяи Берлина, определяли три главных фактора: «Во-первых, мертвая, гнетущая, лишенная воображения власть, занятая прежде всего удержанием своих подданных в подчинении и отвергающая всякие попытки перемен, поскольку они могут повести к дальнейшим сдвигам, притом что более здравомыслящие представители верхов не могли хотя бы смутно не понимать, что реформа, и самая радикальная реформа, к примеру, крепостной системы, суда, образования в стране, не просто желательна, но и просто неизбежна. Во-вторых, условия жизни широчайших масс российского населения — угнетенного, экономически обездоленного крестьянства, угрюмо и неразборчиво ворчащего, но, увы, слишком слабого и неорганизованного, чтобы сколько-нибудь эффективно отстаивать свои права действием. И, наконец, между ними двумя — тонкая прослойка образованного меньшинства, глубоко и порой уязвленно проникшегося западными идеями и переживающего танталовы муки при поездках в Европу и лицезрении растущей социальной и умственной активности, в центрах тамошней культуры»²⁶.

В этих условиях «ученое сословие» могло сохранять свою идентичность и защищать свои права только в той степени, в какой оно было сплоченным. По мере формирования университетского научного сообщества и укрепления его общественного авторитета, оно все более отчетливо проявляло себя как автономная общность, объединенная не только родом деятельности, но прежде всего общими культурными ценностями и социальными идеями: верой в

общественную силу идей Просвещения, разум и прогресс. Обретение собственной гражданской позиции по ключевым вопросам прошлого, настоящего и будущего России «ученым сословием» происходило на фоне острых дискуссий. Начало этих споров восходит к полемике, развернувшейся между западниками (среди которых был Тимофей Грановский и его коллеги по университету) и славянофилами. Некоторое время спустя эта полемика продолжилась столкновением между профессором Константином Кавелиным и писателем Федором Достоевским. А в годы русской революции профессура проявила свою позицию вполне отчетливо, сформировав организационную и идейную основу кадетской партии.

Опыт обретения сплоченности и единства в отстаивании своих ценностей немногочисленным социальным слоем, который к тому же еще был территориально рассредоточен по нескольким университетским городам, представляет собой весьма любопытный пример создания своеобразной социальной сети. Сегодня, когда Интернет вдохнул новую жизнь в сетевые структуры, которые представляют собой довольно старую форму социальной интеграции, любопытно будет выяснить значение сетевых коммуникаций в обретении чувства целостности «ученого сословия». Именно сетевая структура горизонтальных коммуникаций, осуществлявшаяся вне привычной для пирамидального общества иерархической субординации, объединяла профессоров из разных университетов с их европейскими коллегами и способствовала рождению неформальных лидеров, гражданская позиция которых воспринималась как позиция всего профессорского сообщества.

Почему можно говорить о сетевой структуре интеграции «ученого сословия»? Под сетью, как правило, понимается такая структура личных отношений, в которую непосредственным образом может быть включен каждый участник. И «ученое сословие» представляло собой сеть даже не пото-

му, что связи между университетскими учеными были горизонтальными, а не формально-иерархичными. Это естественно для любой интеллектуальной среды. Удивительно другое. В тех условиях такие связи преодолевали не только сословные границы, но и географические расстояния. Появление подобной сети оказалось возможным как бы поверх сословно-иерархической структуры и территориальной разобщенности российского общества, для которого была характерна интеграция на основании вертикальных связей субординации, разрывавших и без того разобщенные горизонтальные взаимодействия.

Своеобразными «узлами» этой сетевой структуры были профессорские кружки, ставшие генераторами корпоративных представлений и ценностей. По словам Дмитрия Овсяннико-Куликовского, эти кружки от остальной России были отгорожены своего рода «китайской стеной», но внутри них «кипела богатая жизнь духа и развертывалась замечательная умственная деятельность»²⁷. Участники этих интеллектуальных оазисов, существовавших среди «повальной умственной темноты», должны были мыслить и чувствовать масштабами всей страны. «Друзья собирались постоянно, — вспоминал Борис Чичерин, — обсуждали все вопросы дня, все явления науки и литературы, проводили иногда долгие ночи в оживленных беседах»²⁸. Их целью было приготовить Россию к лучшему будущему путем распространения знаний и просвещения.

В Московском университете организатором такого кружка стал Тимофей Грановский. Он пользовался большим авторитетом среди коллег. Спустя полвека после его смерти профессор Василий Ключевский скажет о нем: «От него пошло университетское предание, которое носит в себе всякий русский образованный человек. Все мы более или менее — ученики Грановского... ибо Грановский, не другой кто создал для последующих поколений русской науки идеальный первообраз профессора»²⁹. Вокруг Грановского объединились

молодые профессора, разные по характеру и увлечениям: Петр Редкин, Никита Крылов, Дмитрий Крюков и другие. Практически всех их объединял тот путь, которым они пришли к своим кафедрам. Это учеба в немецких университетах, овладение гегельянством и увлеченность идеями Просвещения. Кружок возник еще в конце 1830-х годов и надолго стал центром притяжения талантливой университетской молодежи. Вскоре в него вошли Константин Кавелин и Петр Кудрявцев. О своей близости к этому кружку вспоминал и известный историк Сергей Соловьев. В 1840-е годы профессорский кружок превратился в значительную силу и во многом определял лицо Московского университета³⁰. Тимофей Грановский «завязал ту внутреннюю духовную связь между Московским университетом и обществом», которая, по словам Ключевского, «в многотысячном лице московского студенчества тонкими нитями расходилась далеко-далеко от Москвы во все стороны»³¹. Как вспоминал Борис Чичерин, в то время «всякий приезжий из Петербурга: Белинский, Краевский, Тургенев, Анненков, Панаев — считал долгом явиться к московским профессорам, которые принимали его как своего собрата»³².

Справедливости ради следует оговориться. Университетское сообщество никогда не было однородным, а профессоров-просветителей в 1840-х и начале 1850-х годов было не так много. Но они работали в каждом университете. Большинство из них были историками, юристами, экономистами, и идеалом для многих был Грановский. Среди профессоров-просветителей того времени наибольшую известность имели Константин Кавелин, Петр Редкин, Николай Лясковский — в Москве; Виктор Порошин и Владимир Милютин — в Санкт-Петербурге; Дмитрий Мейер, которого Александр Пыпин называл профессором «нового типа», — в Казани; Платон Павлов, Николай Бунге, Виталий Шульгин — в Киеве; Дмитрий Каченовский — в Харькове. Разумеется, был и иной тип профессора. Не-

которые, по словам Герцена, «вместо науки преподавали теорию рабства». Но именно фигура профессора-просветителя привлекала внимание студентов. И именно этот образ определял лицо университетского сообщества.

После смерти Грановского в 1855 году московский кружок возглавил Александр Станкевич, младший брат рано умершего философа Николая Станкевича, руководившего гегельянским кружком в Московском университете. Александр Станкевич объединил вокруг себя профессоров Петра Кудрявцева, Ивана Бабста, Федора Дмитриева, Павла Пикулина, Ивана Забелина, Бориса Чичерина и других. Во второй половине 1850-х годов члены кружка собирались обычно по пятницам у Станкевича или у профессора медицины Пикулина. Часто участники собраний устраивали торжественные обеды, на которых по обычаю тех лет произносились речи. Поводы к таким обедам были различные. Например, летом 1856 года был устроен обед по поводу решения Александра II об облегчении выезда за границу и отъезда Кудрявцева в Европу. А в ноябре 1857 года обед состоялся по весьма долгожданному и знаменательному поводу — издание императором рескрипта Назимову, свидетельствовавшего о начале подготовки крестьянской реформы³³.

Московский кружок был связан с профессурой других университетов. Например, Бабст, имевший большое влияние в кружке, в 1851 году переехал в Казань, где в течение шести лет занимал кафедру политэкономии. В 1857 году он снова был приглашен в Москву и вновь стал членом кружка. Очевидно, что связи со своими коллегами он не прерывал. Но, пожалуй, наиболее яркий пример — деятельность Константина Кавелина. Покинув после своей отставки Москву, он стал одним из лидеров подобного кружка в Санкт-Петербурге. Петербургский кружок начал формироваться в середине 40-х годов под руководством Милютина. Здесь выработывалась концепция легальных преобразований России. В своих воспоминаниях Павел

Анненков называл этот кружок «партией петербургского прогресса». Первоначально петербургские профессора не входили в кружок. Членами кружка были интеллектуалы и либеральные чиновники. Но через Кавелина кружок был связан с профессурой из разных городов. В его архиве хранятся письма к нему тех лет харьковского профессора Дмитрия Каченовского, киевского профессора Платона Павлова, казанского профессора Николая Булича и многих других. В этих письмах профессора разных университетов обращались к нему как к своему единомышленнику, живущему в столице и находящемуся в центре общественной жизни России³⁴. Когда в 1857 году Кавелин получил кафедру в Санкт-Петербургском университете, он стал лидером молодой профессуры этого университета. На воскресных журфиксах у него собирались не только петербургские профессора, но и его московские коллеги Соловьев, Бабст, Чичерин, что, безусловно, свидетельствует о состоянии коммуникаций внутри «ученого сословия».

Именно эти коммуникации играли ключевую роль в реализации гражданской активности «ученого сословия». Роль профессорских кружков, объединявших интеллектуалов разных городов России в создании конституционно-демократической партии трудно переоценить. Существенную роль в организации партии имели связи, сложившиеся на журфиксах и вечерах у профессоров Ивана Янжула в Москве и Константина Арсеньева в Петербурге, а также в кружке «Братство Приютино» в Санкт-Петербургском университете, объединявшем в 1880-х годах Дмитрия Шаховского, Александра Корнилова, Владимира Вернадского, Ивана Гревса, братьев Ольденбургов³⁵. В среде, создававшейся просветительскими усилиями университетских интеллектуалов, идея партии вызревала естественным образом. «Стал кадетом, с одной стороны, незаметно жизненно через Братство, Союз освобождения, земскую дружескую среду, — вспоминал Владимир Вернадский. — Из этих хорий выросла моя

партийность кадетская — незаметно, бытовым путем. Но сознательно это из больших социально-политических течений единственная партия, которая стояла за максимальную свободу мысли»³⁶.

* * *

Несмотря на то что основания системы университетского образования в России закладываются еще при Петре I, правовое оформление «ученого сословия» происходит лишь в XIX веке. Если меры правительства по организации университетов, непоследовательные и растянувшиеся почти на столетие, создавали формальные предпосылки для университетского образования, то реальным содержанием российские университеты наполнялись по мере формирования «ученого сословия», обретения им идентичности и внутренней солидарности в отстаивании общей позиции. Правовую неопределенность российской профессуры можно объяснить ее двойственным статусом. Университеты открывались по инициативе власти и были фактически государственными учреждениями. Но этот статус стеснял научного работника некоторыми обстоятельствами, регламентацией и бюрократизацией, подотчетностью и подцензурностью. Поэтому университеты с момента своего появления стремились присвоить себе черты автономной корпорации, которая работала бы на принципах самоуправления и преодолевала бы тем самым бюрократические ограничения. Такая постановка вопроса была довольно необычна в самодержавной сословной стране, где любой общественно значимый вопрос не мог быть решен автономно от власти. Но крайне малочисленному и территориально разобщенному между несколькими университетскими городами «ученому сословию» удалось всего за несколько десятилетий достичь такого уровня сплоченности, который позволил ему стать вполне автономным и весьма заметным субъектом общественной жизни.

Самоподрыв самодержавия: университетская автономия и власть

В отличие от Европы, где университеты были естественно возникшим элементом городской культуры и гражданского общества, в крепостнической и сословной России профессорское сообщество выглядело, мягко говоря, не вполне органично. Сама наука явно не вмещалась в отводимые ей правительством рамки. История несла демократический опыт античности, а философия неизбежно вступала в конфликт с церковными догмами. Юридические науки невозможно было представить без конституционных идей, а экономические науки разоблачали неэффективность крепостничества. Даже беглый анализ взаимодействия университетов и власти ведет к обнаружению очевидного парадокса. Самодержавная власть, поощряя развитие университетов и поездки молодых интеллектуалов за границу, собственными руками создавала себе явную проблему. Вряд ли противоречия между основами самодержавия и идеалами Просвещения были неочевидны для власти. И вряд ли власть была абсолютно уверена, что эти идеалы можно будет удержать в стенах малочисленных университетов. Но, несмотря на частые попытки ограничить университетскую автономию, самодержавие никогда не отказывалось от самой идеи развития университетов.

1.

Этот парадокс требует объяснения. Тем более что подобных парадоксов в развитии императорской России было

немало. Дело, видимо, в том, что помимо вызревания внутренних противоречий у российского самодержавия была другая проблема, скорее, даже более серьезная. Власть была весьма обеспокоена тем положением, которое Россия занимала в ряду европейских империй. Отсутствие в России аналогов каких-то важных институций европейского общества могло восприниматься как признак неполноценности. Власть оказывалась в сложном положении: необходимо было внедрять в российскую практику отсутствующие институции таким образом, чтобы они не подрывали основ существующего строя. Однако вряд ли это было возможно. Поэтому приходилось время от времени либо душить новые веяния, либо придумывать весьма смелые проекты реформ. Впрочем, власть выбрала третий и весьма экстравагантный путь: делать и то, и другое одновременно, одной рукой проводить реформы, а другой — выдвигать тех, кто будет этим реформам препятствовать. Об этом писал в своем дневнике Василий Ключевский. Он замечал, что в течение всего XIX века правительство «вело чисто провокаторскую деятельность: оно давало обществу ровно столько свободы, сколько было нужно, чтобы вызвать в нем первые ее проявления, и потом накрывало и карало неосторожных простаков»¹. Так было и с развитием университетов.

Любопытно, что именно в тот период, когда в российских университетах появляется новое поколение вернувшихся из Европы профессоров, принципиально меняется дискурс власти в отношении одной из главных проблем российской общественной мысли — проблемы самоопределения России в отношении к Европе. Со времен Петра I господствовала убежденность в необходимости развития России по европейским образцам. Россия представлялась как органичная часть христианского мира, а ценности христианского универсализма воспринимались как основания общей идентичности России и Европы вплоть до реформ Александра I. Российские университеты обязаны своему появлению имен-

но этой тенденции. Однако этот вестернизаторский в своей основе дискурс содержал в себе как минимум две ловушки для режима. Первая состояла в том, что сама логика догоняющего развития заставляла определять российскую действительность в терминах развития и отсталости. Самодержавие, стремившееся к цивилизаторской миссии в отношении имперских окраин, не могло смириться с тем, что оно само должно кого-то «догонять». И вторая ловушка: ценности единства христианского мира предполагают и единство исторических судеб России и Европы. А именно этого единства в условиях череды европейских революций самодержавие больше не желало. Обе эти ловушки отчетливо осознаются после поражения декабристов. Вслед за расправой над ними формируется деспотичный николаевский режим. Николай I, всеми силами боровшийся с призраками европейских революций, вынужден был вырваться из вестернизаторской логики. Навязываемый николаевским режимом официальный дискурс объясняет теперь российскую действительность не отсталостью России, а ее уникальностью. Этот дискурс заставляет отказаться и от идеи единства христианского мира. Христианство понимается теперь через призму изобретенной графом Уваровым формулы «православие, самодержавие, народность», призванной обосновать особость русской веры и русского пути. Опасное слияние православия с идеологическим оправданием режима, разворот религии от высокой духовной традиции к архаичной народной культуре — роковые следствия уваровской триады, востребованной в измененных состояниях до сих пор.

Но вернемся к нашему основному сюжету: формирование университетского сообщества. Распространение знаний и открытие университетов в России изначально было именно государственным, а не общественным делом. По словам Владимира Вернадского, «для России чрезвычайно характерно, что вся научная творческая работа в течение всего XVIII и почти вся в XIX в. была связана прямо или косвенно

с государственной организацией: она или вызывалась сознательно государственными потребностями, или находила себе место неожиданно для правительства и нередко вопреки его желанию в создаваемых им или поддерживаемых им для других целей предприятиях, организациях, профессиях»². В силу названных выше обстоятельств развитие университетов предстает как весьма противоречивый процесс. С одной стороны, российские университеты создаются «сверху» и своим появлением обязаны вестернизаторской логике власти. Но с другой — создание полноценной системы подготовки преподавательских кадров и вступление на университетские кафедры молодых профессоров приходится именно на тот период, когда власть стремится вырваться из логики догоняющего развития и обосновать особость русского пути на основании противопоставления России и Европы.

Привнесенные институции, внедряемые «сверху», редко могут рассчитывать на полноценную поддержку «снизу». По крайней мере, в начальный период своего становления. Университетское сообщество не имело возможности опереться на дремлющие еще общественные силы. Поэтому корпоративная интеграция и идентификация университетского сообщества имела особенное значение именно в российских условиях, где слой интеллектуалов был численно незначителен. Образованный слой не был интегрирован в общественный организм вплоть до начала XX века, когда социальная структура заметно усложняется.

Процесс, который Фихте называл «преобразованием знаний в труды», может быть реализован, по мнению Юргена Хабермаса, как в приватной сфере образования, так и в плоскости переноса знаний в практический контекст жизненного мира³. Но в XIX веке этот второй путь не был еще открыт. Наука почти не имела доступа к решению практических задач государства. Лишь немногие отдельные специалисты включались в состав ученых комитетов при министерствах. Университеты были единственными центрами научной

жизни. К середине века в пяти университетах было всего около трех сотен преподавателей. По словам ректора Санкт-Петербургского университета Николая Бекетова, «университетские города разбросаны в России как оазисы в пустыни, а в самих городах этих университеты являются какими-то монастырями, в стенах которых каждая наука имеет по одному, много по два служителя. На них-то сверх официальных обязанностей должна возлагаться вся надежда касательно поддержания и возвышения интересов той науки, которой они преданы; при этом должно заметить, что такая неофициальная деятельность нередко должна распространяться от одного лица по всей окрестной стране, равной площадью иному второстепенному государству Западной Европы»⁴.

И тем не менее именно этот тонкий слой интеллектуалов уже во второй половине XIX века не только оказывается в самом центре общественной жизни, но и сам становится существенным фактором пробуждения российского общества. В своем пророческом романе «Бесы» Федор Достоевский обвиняет в лице Николая Степановича Верховенского российскую профессуру в том, что из стен университетов выходят те самые радикально настроенные революционеры, которые вскоре подорвут основания не только режима, но и всего нравственного строя. Обоснованность этих обвинений требует специальных комментариев, которые будут сделаны в одном из следующих разделов. Но очевидно, что из-за непоследовательной и противоречивой политики самодержавие, которое создавало университеты, наделяло их автономией и одновременно пыталось сохранить свой самодостаточный характер, своими руками подрывало собственные основания. Этот урок российских модернизаций не следует забывать и сегодня: модернизация каких-то отдельных сфер российской действительности невозможна без модернизации всего общества.

Создавая университеты и поддерживая науки, власть руководствовалась вполне конкретными практическими

целями, стремясь укрепить свои позиции как внутри России, так и в отношениях с европейскими партнерами. Однако полноценное существование университета в его классическом понимании возможно лишь в условиях принципиальной открытости потокам идей, знаний и ценностей. Поэтому, следуя этим курсом, российское самодержавие неизбежно стимулировало новые тенденции, которые создавали возможности проявления свободы в несвободном обществе. В условиях, когда власть имела всеобъемлющий и самодостаточный характер и ни одна социальная группа не могла играть самостоятельную роль, самодержавие само стало создателем собственного врага: вместе с новыми знаниями и культурой из Европы были привнесены представления о политических и гражданских свободах, конституционном правлении и демократии. И, что не менее важно, появились социальные сообщества, способные транслировать эти идеи.

2.

Университетская автономия — одновременно и следствие, и условие свободы не только научного творчества, но и гражданской активности «ученого сословия». Университет должен обладать автономией уже по определению. И никакой другой вопрос университетской жизни не показывает так рельефно всю сложность отношений между «ученым сословием» и властью. Необходимость экономического и военного развития России, потребность в ликвидации зависимости от научных и духовных достижений Запада требовали от правительства принятия решительных мер по организации полноценной деятельности университетов. Однако власть понимала и другое: наделение университетов полноценной автономией создаст угрозу для воспроизводства режима, не желающего идти на реформы. Эта двойственность позиции самой власти предопределяла непоследовательность ее политики по отношению к университетам. Противоречие между

стремлением университетского сообщества к автономии и попытками правительственных чиновников поставить университеты под свой контроль со всей очевидностью проявились в истории университетских уставов.

Степень университетской автономии, которая определялась уставами, менялась волнообразно. Подобно тому как в России осуществлялись любые реформы: сначала долгое вызревание, принятие смелых и решительных мер, а потом нелепые попытки отменить произошедшие перемены и обезопасить режим от перезревших изменений.

Основы университетской автономии были заложены еще в 1755 году, когда был высочайше утвержден «Проект об учреждении Московского университета». В части третьей второго параграфа этого проекта было записано: «...как профессора и учителя, так и прочие под университетскою протекциею состоящие без ведома и позволения университетских кураторов и директора неповинны были ни перед каким иным судом стать, кроме университетского». Права профессоров, которых тогда по штату было всего десять (о чем говорилось в параграфе пятом), были ограничены в пользу профессорского собрания и кураторов. Параграф восьмой гласил: «Никто из профессоров не должен по своей воле выбрать себе систему или автора и по оной науку своим слушателям предлагать, но каждый повинен следовать тому порядку и тем авторам, которые ему профессорским собранием и от кураторов предписаны будут». Согласно этому проекту, профессора получали и первые льготы: «все принадлежащие к университетскому чину в собственных их домах свободны были от постоев и всяких полицейских тягостей, так же и от вычетов из жалования и всяких других сборов»⁵.

История университетских уставов восходит к началу реформ Александра I. После открытия университетов в Дерпте, Вильно, Казани и Харькове 5 ноября 1804 года был утвержден университетский устав, действовавший до 1835 года. Устав был составлен в соответствии с принци-

пом университетской автономии. Должности ректора, деканов и профессоров были выборными. Университеты получали право утверждать новые кафедры, создавать ученые общества, утверждать преподавателей в ученых степенях. В соответствии с параграфом 48 высшей инстанцией по делам учебным и судебным был совет университета. Председателем совета являлся ректор, который возглавлял и правление университета, состоящее из деканов факультетов. В параграфе 55 говорилось, что совет мог решать и научные дела на «особенных собраниях», которые собирались один раз в месяц. Возникавшие в стенах университета конфликты должны были разрешаться университетским судом. Но высшей инстанцией оставался совет, который рассматривал также и апелляции⁶. Таким образом, в начале XIX века в России закладываются принципы университетской автономии: управление университетом осуществлялось на основе коллегиальности. Впрочем, справедливости ради, следует сделать оговорку: эта автономия была далеко не полной и ограничивалась со стороны попечителя.

Уже в первые десятилетия существования университетов чиновничество проявляло явное стремление к ограничению только еще провозглашенной университетской автономии. Примером такого стремления могут служить интриги вокруг открытия Санкт-Петербургского университета в 1819 году. Министр духовных дел и народного просвещения князь Голицын стремился с открытием университета в Санкт-Петербурге создать прецедент для задуманных им изменений университетских уставов, принятых в начале века. О цели этих изменений нетрудно догадаться: министр, одновременно занимавший и пост обер-прокурора Синода, хотел «сочетать навсегда науку с религией и скрепить благотворный между ними союз посредством единства в направлении той и другой»⁷, что позволило бы без особого труда воспитывать покорность властям и веру в монархический идеал. Средством для достижения этой цели было ограничение

университетской автономии, которая к тому времени не успела еще дать сколь-нибудь заметные плоды. По замыслу министра, во главе университета должен стоять не избираемый профессорами ректор, а назначаемый правительством директор, который являлся помощником попечителя. Функции же ректора ограничивались лишь учебными и научными вопросами. Деканы факультетов вообще должны были быть исключены из правления университета.

Первые годы существования российских университетов отмечены погромами Рунича в Санкт-Петербурге и Магницкого — в Казани. О плодах ревизии Магницкого в Казанском университете историк Николай Загоскин писал: «Все было разнесено, ни в одной отрасли жизни университета не оставлено камня на камне»⁸. Подобные ревизии правительством предпринимались неустанно. Например, в 1826 году графу Строганову было поручено посмотреть, нет ли чего вредного для строя «в системе учебного преподавания наук» в Московском университете. Третье отделение постоянно доносило, что профессура повинна в воспитании у студентов «мечтательных крайностей» и «своеволия мыслей».

Очевидно, что правительство чувствовало опасность выпадения автономных университетов из бюрократической иерархии сословной России. И неслучайно новый устав, утвержденный 26 июля 1835 года и введенный в действие 1 января следующего года, существенно ограничивал университетскую автономию. Университеты лишались цензурных и судебных функций, а также освобождались от управления учебными округами. Полномочия ректора и совета университета сокращались, а влияние попечителя существенно расширялось. Попечители были фактически чиновниками министерства и получали большие административные полномочия. От фигуры попечителя зависело теперь многое. Но в этом были и некоторые положительные моменты. Попечитель был гораздо ближе к профессорской среде, чем министерские чиновники, он входил во все университетские

дела и держал в своих руках все нити управления. К тому же правительство не могло позволить себе искоренить принципы университетской автономии полностью. Новый устав сохранял, хотя и в урезанной форме, принципы коллегиальности и выборности. Ректор избирался советом университета на четыре года. Однако результаты выборов должны были утверждаться императором. Из числа профессоров избирались проректор и деканы, но с последующим утверждением их министром.

После революционных потрясений в Европе 1848 года правительственные чиновники наносят новый удар по университетской автономии. Согласно Положению от 11 октября 1849 года ректор уже не избирается советом университета, а назначается министром и утверждается императором. При этом должность ректора не могла уже совмещаться с профессорской. Под сомнение был поставлен и принцип выборности деканов. Весьма показателен эпизод избрания советом Московского университета Тимофея Грановского на должность декана историко-филологического отделения. Пикантность этого эпизода состоит в одновременном назначении на эту же должность Степана Шевырева, который «в противоположность представляемому соперником западному направлению, все более и более сдавался в славянофильство», но в отличие от славянофилов «не искал свободы не только на Западе, но и в древней России, а строго держался тогдашней казенной программы: православие, самодержавие и народность»⁹.

Впрочем, в Московском университете, который меньше контролировался министерскими чиновниками, было чуть больше свободы. И поскольку, согласно уставу 1835 года, университеты были на бюрократических основаниях подчинены попечителям учебных округов, принципиальное значение в создании благоприятной для московской профессуры обстановки принадлежит деятельности попечителя Московского учебного округа. Эту должность тогда занимал

граф Сергей Строганов — яркая, незаурядная, но сложная личность. Потомок «именитых людей Строгановых», у которых брали в долг еще последние Рюриковичи и первые Романовы, в окружении Николая I выделялся не только знатностью и богатством. Его взгляды были весьма путаными и в целом консервативными, но, по свидетельству современников, это были именно убеждения, а не бюрократический штамп официальной народности. Опору самодержавия Строганов видел в русской аристократии. Причем истинный аристократизм для него определялся не только знатностью и богатством. Аристократия, считал граф, поддерживается «личными достоинствами членов своих, их нравственными средствами». Отсюда его убежденность, что «высшее сословие» должно быть прежде всего хорошо образовано. К просвещению Строганов относился чрезвычайно серьезно, с искренней любовью и уважением. Поэтому, видимо, и сделал за время своего попечительства немало полезного для московской профессуры¹⁰. Молодые профессора постоянно ощущали покровительство графа, весьма полезное в условиях не слишком комфортного николаевского режима. Писатель Александр Афанасьев, поступивший в университет в 1844 году, оценивал время попечительства графа Строганова как «едва ли не самое счастливое время Московского университета, по отсутствию всяких сомнений и формализма, которыми так любят щеголять в наших учебных заведениях»¹¹. Профессор Чичерин вспоминал, что при Строганове «университет весь обновился свежими силами». Он писал: «Главное внимание просвещенного попечителя было устремлено на то, чтобы кафедры были замещены людьми с знанием и талантом. Он отыскивал их всюду, и в Москве, и в Петербурге, куда он сам ездил с целью приобрести для университета подававших надежды молодых людей»¹². Большую роль сыграл Строганов и в жизни будущего ректора Московского университета, известного историка Сергея Соловьева.

Но не следует забывать, что и в эти годы, не самые худшие для Московского университета, просветительские усилия университетских интеллектуалов становились предметом бесконечных доносов и разбирательств.

В одном из своих писем, датированных 1850-м годом, Тимофей Грановский писал: «Донысы идут тысячами. Обо мне в течение трех месяцев два раза собирали справки. Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом... Университеты предполагалось закрыть, — теперь ограничили следующими уже приведенными в исполнение мерами: возвысили плату со студентов и уменьшили их число законом, в силу которого не может быть в университете более 300 студентов»¹³. Судьба распорядилась так, что Грановский, разочарованный в своих надеждах на обновление России, умирает в 1855 году — в то самое темное время, которое обычно бывает в преддверии перемен.

3.

Борьба профессорского сообщества за университетскую автономию и бесконечные попытки правительства усилить контроль над университетами не прекращались никогда. Но перемены к лучшему, пусть и кратковременные, в условиях реформ Александра II были неизбежны. На рубеже 50–60-х годов XIX столетия разворачивается работа над новым университетским уставом. Он будет принят в 1863 году.

А в феврале 1858 года в Санкт-Петербургском университете появляется первый проект устава. Автором его был попечитель Санкт-Петербургского учебного округа князь Григорий Щербатов. В марте — апреле 1858 года проект Щербатова обсуждался на заседании университетского совета, затем дорабатывался избранной советом комиссией. А летом того же года он был передан в министерство.

Этот проект был подготовлен в духе идей либеральной профессуры, которая преподавала тогда в столичном уни-

верситете. Известные своими либеральными взглядами профессор Константин Кавелин, Николай Бекетов, Александр Пыпин, Михаил Стасюлевич, Владимир Спасович, Николай Костомаров, Борис Утин принимали активное участие в разработке проекта. И неудивительно, что он был направлен против всевластия в университете правительственных чиновников — попечителей учебных округов. За ними оставалось лишь «высшее наблюдение» за университетом и ходатайство перед правительством о его «пользах и нуждах». Попечитель отстранялся, таким образом, от непосредственного управления университетом, хотя все важнейшие дела требовали его утверждения. Университетский совет оставался, как и раньше, совещательным органом. Но ему было предоставлено исключительное право на решение вопроса о замещении кафедр. Министр, согласно проекту, не мог назначать профессоров без решения университетского совета. Были расширены и полномочия факультетских собраний. На их решение передавались все научные и учебные дела. Проект предусматривал создание новых кафедр, меры по улучшению положения профессуры. Предлагалось также отказаться от повседневного контроля над занятиями студентов¹⁴.

Получив этот проект, министр народного просвещения Евграф Ковалевский направляет его на рассмотрение в Московский и Киевский университеты. Любопытно, что на это рассмотрение было потрачено целых три (!) года. Это типично бюрократический прием затягивания времени принятия невыгодного для чиновничества документа. Возможно, откладывать принятие нового устава под разными предложениями можно было бы и дальше, если бы не студенческие волнения, которые произошли в 1861 году в Санкт-Петербурге и некоторых других университетских городах. Только в Петербурге было арестовано 335 студентов, которых поместили сначала в Петропавловскую крепость, а затем большинство из них увезли в Кронштадт. Говорят, что на воротах

Петропавловки кто-то даже написал: «Петербургский университет». Еще несколько сотен студентов были отчислены и отправлены на родину. В декабре Александр II даже распорядился закрыть Санкт-Петербургский университет «впредь до пересмотра университетского устава»¹⁵. Профессура осуждала репрессивные меры правительства против студентов и 30 сентября представила министру адрес, в котором в осторожной форме высказывалось пожелание об облегчении участи арестованных студентов. На заседании совета Санкт-Петербургского университета 8 октября профессора Иван Андреевский, Константин Кавелин, Петр Плетнев подчеркивали, что нормальная академическая жизнь несовместима с полицейскими порядками. А профессор Александр Никитенко подал министру просьбу об освобождении его от обязанностей члена следственной комиссии, учрежденной правительством в связи с университетскими беспорядками. Константин Кавелин и еще несколько его коллег в знак протеста подают в отставку и уходят из университета¹⁶. Впрочем, впоследствии либеральная профессура уже более сдержанно будет относиться к проявлению радикальных настроений в студенческой среде.

Новый министр адмирал граф Евфимий Путятин, назначенный на эту должность в июне 1861 года, создает комиссию по разработке устава во главе с фон Брандтом, попечителем Дерптского университета, наименьшим образом затронутого волнениями. Комиссия была образована из генералов и сановников, попечителей учебных округов и назначенных профессоров. И в своей деятельности она отталкивалась не от петербургского проекта, а от устава 1835 года, тем самым намечая лишь частичные изменения существующего университетского порядка. Многие профессора выступили против нового проекта устава, представленного в декабре этой комиссией.

После отставки Путятина и назначения Александра Головкина на должность министра проект был направлен

не в Государственный совет, как предполагалось ранее, а на одобрение в университеты. Более того, проект перевели на немецкий, французский, английский языки и послали на отзыв иностранным ученым! Министр народного просвещения командировал вышедшего в отставку профессора Кавелина в Европу для изучения устройства европейских университетов. В результате усилий нового министра проект комиссии фон Брадке был серьезно переработан. Главная роль в управлении университетом отводилась университетскому совету. Ректор университета был подотчетен лишь совету. Попечитель играл теперь лишь роль наблюдателя за точным исполнением устава. Был также расширен и круг деятельности факультетских собраний.

Но, как это часто бывает, лучшие идеи редко воплощаются окончательно в чистом виде. В декабре 1862 года проект был передан в главное правление училищ, которое внесло в него свои изменения и 16 декабря направило его императору. Александр II неожиданно создал комиссию для дополнительного рассмотрения устава во главе с графом Строгановым. Граф выступил против руководящей роли университетского совета и за расширение полномочий попечителя. После очередного редактирования проекта в главном правлении училищ (это уже середина февраля 1863 года) и согласования его в министерстве финансов проект был внесен в Государственный совет. В апреле — мае 1863 года проекты устава и штатов рассматривались на трех заседаниях соединенных департаментов Государственного совета и после очередных изменений были поданы на общее собрание Государственного совета, где обсуждение также было весьма бурным. Эта история заканчивается 18 июня 1863 года, когда император ставит свою подпись под новым университетским уставом.

Теперь университеты становились полноправными самоуправляющимися учреждениями. Права университетских советов существенно расширились. Появилась воз-

возможность выбирать ректора, проректора, деканов, профессоров и преподавателей кафедр с последующим утверждением их правительством. Совет руководил всей учебной и научной жизнью университета, решал программные вопросы, присуждал ученые степени, распоряжался и деньгами, отпускаемыми на содержание университета. Это была победа принципов университетской автономии.

В связи с принятием нового устава профессорско-преподавательский состав университетов был расширен с 265 до 443 штатных единиц. Для заполнения новых вакансий и подготовки университетских кадров по решению правительства 84 соискателя под наблюдением выдающегося хирурга профессора Николая Пирогова были направлены в европейские университеты. Принятие устава 1863 года способствовало расцвету научной деятельности. В годы реформ Александра II в стенах российских университетов сложились научные школы, получившие мировое признание в самых разных отраслях знания: химии и биологии, математике и физике, физиологии и биологии, востоковедении и филологии¹⁷.

Но удивительно, что любое развитие в российской истории не может идти поступательно на протяжении относительно длительного времени. Реформы в России неизбежно сменяются контрреформами. И на смену смелым преобразованиям приходят унылые времена охранительства и страха перед любыми проявлениями свободомыслия. Университетская автономия в том виде, в каком она была заложена уставом 1863 года, просуществует всего два десятилетия. Через несколько лет после трагической гибели царя-реформатора будет принят новый устав, который перечеркнет многие принципы предыдущего.

Движимый страхом перед университетским свободомыслием и растущими волнениями в студенческой среде министр народного просвещения Иван Делянов добивается принятия нового устава в 1884 году. Полновластным хозяином университета становится назначаемый министром попечитель,

выборность профессоров отменяется, а совет профессоров лишается всех прав, кроме решения хозяйственных вопросов. Предпринимается также ряд мер, направленных на устранение всякой возможности внутренних беспорядков и антиправительственной пропаганды. Но самые серьезные последствия этой ретроградной политики испытало на себе содержание образования, особенно его социально-гуманитарная составляющая, которая теперь почти полностью сводится к изучению древних языков, древней истории и мифологии. На смену общественному подъему периода реформ Александра II пришло разочарование и спад гражданской активности университетских интеллектуалов, которые оказались в более стесненном положении. Но их просветительская деятельность не прекращается и в годы консервативного отката.

Многолетние усилия власти по выхолащиванию университетских свобод и усмирению студенчества, как хорошо известно, привели к результатам прямо противоположным. В ответ на решение отдавать в солдаты участников беспорядков студент Петр Карпович, исключенный из университета за участие в волнениях, в приемной министерства народного просвещения 14 февраля 1901 года смертельно ранил министра Николая Боголепова¹⁸. Этот выстрел, устранивший консервативного министра, открывал дорогу не робким преобразованиям, а тяжелым потрясениям.

Первые годы XX века прошли под знаком резкой и почти всеобщей критики университетских порядков, заложенных уставом 1884 года. Но все проекты, выработанные университетскими советами и отдельными профессорами, были положены под сукно. Неудивительно, что разочарование подталкивало интеллектуалов к довольно радикальным выводам. В январе 1905 года была опубликована «Записка 342 ученых», число подписей под которой вскоре выросло до полутора тысяч. В ней вполне однозначно утверждалось: «Академическая свобода несовместима с современным государственным строем»¹⁹.

Ирония истории состоит в том, что долгожданная и беспрецедентная автономия университетам была дарована высочайшим указом не в самое подходящее время — время первой русской революции. Это случилось 27 августа 1905 года (по старому стилю), именно в тот период, когда университеты, охваченные революционной бурей, утратили внутреннее единство и были раздираемы противоречиями между профессурой, либеральной в большинстве своем, и радикально настроенным студенчеством.

«Когда над русской общественной жизнью занялась заря свободы, первым актом, первым предвестником грядущей свободы было объявление автономии высшей школы, — писал в «Вестнике воспитания» профессор Тимофей Локоть. — Правда, эта автономия оказалась пока не полной, незаконченной, столь же мало вылившейся в живые, конкретные формы, как и сама грядущая свобода, к которой общество рвется всеми своими живыми силами. Но автономия высшей школы — великое ее достояние, которое остается только укрепить, отлить в живые формы, последовательно и широко провести во все стороны академической жизни»²⁰.

Вся дореволюционная история российских университетов — это история борьбы университетских интеллектуалов за автономию. И все-таки ее установление в 1905 году произошло неожиданно. Еще недавно правительство угрожало изгнать всех неугодных профессоров и закрыть непокорные университеты. Причина такого неожиданного поворота, видимо, в желании правительства, неспособного вразумительно управлять высшей школой в условиях революционного подъема, просто уйти от ответственности.

Автономия, сделавшая высшие учебные заведения оазами свободы среди пустыни полицейско-бюрократического бесправия и революционных волнений, сыграла с университетами недобрую шутку. Высшие учебные заведения стали местом притяжения весьма разнородной публики. Дело в том, что в стенах университета была провозглашена неогра-

ниченая свобода собраний. Если на лекции профессоров и на студенческие собрания приходили посторонние для университета люди, то их было не так много. Однако политические собрания, проходившие теперь в большом количестве, сложно назвать студенческими и тем более профессорскими. В докладе профессора Александра Брандта, например, говорится, что в Санкт-Петербурге «митинги в университете и других учебных заведениях назначались кем угодно — советом рабочих депутатов, союзом союзов, делегатским съездом железнодорожников, — и не было уже больше лица или учреждения, являвшегося хозяином помещения; университет всегда, в любой день после двух часов, должен был принять в свои стены митинг, назначенный кем-либо, сделавшим о том объявление в газетах». Причина очевидна, и о ней в своем докладе говорит профессор Брандт. Полицейские власти рассматривали автономные университеты как «экстерриториальные учреждения, как счастливые острова, на которых допускалось все то, что в других местах преследовалось при помощи казацких нагаек»²¹. Плоды университетской автономии оказались слишком соблазнительными для разного рода радикалов, которые не имели никакого отношения ни к университету, ни к автономии. Со свойственной им бесцеремонностью они вторгались в чужой дом. Основанная Владимиром Лениным газета «Искра» призывала летом 1905 года превратить учебные заведения в помещения для митингов, чтобы там, где еще недавно раздавалась речь профессора, звучал теперь голос революционера.

В этой истории обращает на себя внимание одна весьма показательная деталь. Профессура, настроенная весьма решительно и прогрессивно, в тот момент, когда встает вопрос о выборе между интересами революционной борьбы и интересами университета, занимает вполне определенную позицию. Ректор московского университета Сергей Трубецкой 22 сентября обращается к студентам со следующими словами: «За безусловную свободу общественных и

политических собраний я стоял всегда и везде... и тем не менее я скажу вам здесь не только как ректор и профессор, но как общественный деятель, что университет не есть место для политических собраний, что университет не может и не должен быть народной площадью, как народная площадь не может быть университетом; и всякая попытка превратить университет в такую площадь или превратить его в место народных митингов — неизбежно уничтожит университет как таковой»²². И в этом вопросе позиции революционного студенчества и либеральной в большинстве своем профессуры расходились.

Впрочем, выход из сложившегося положения был найден радикальный: российские университеты в октябре 1905 года просто были закрыты: частично правительством, а частично самими университетскими советами. Это решение не могло устроить ни студенчество, ни профессуру. Первые лишились автономной площадки для своей политической борьбы, а вторые условием освобождения университета от политики видели не реакцию, а свободу. Занятия в университетах возобновятся лишь после того, как революционная волна пойдет на спад.

После возобновления работы университетов высшее образование переживет новый подъем. В 1909 году открылся университет в Саратове, а в 1916 — в Перми. В годы Первой мировой войны Варшавский университет переместился в Ростов-на-Дону, а Юрьевский (Дерптский) — в Воронеж, где возникли новые университетские центры. С 1908 года велась работа по созданию Таврического университета в Симферополе, открытие которого произошло в 1918 году — уже после крушения самодержавия²³.

* * *

Современная нам история общественных подъемов и спадов свидетельствует о том, что гражданская активность то разгорается, то вновь затухает. Подобную волнообразную

логику в России традиционно имеет и реформаторская политика. Так же было и в XIX веке. История открытия и становления российских университетов, сопровождаемая бюрократическими интригами, погромами и ревизиями, явно свидетельствует о том, что сам принцип автономии делает университеты своеобразным «инородным телом» в системе бюрократической иерархии сословной России. В эту иерархию явно не вписываются университетские принципы коллегиальности управления, выборности, относительной независимости от правительства. Власть понимала, что такая автономия совершенно необходима для развития науки и образования. Но и мириться со свободомыслием, которое неизбежно возникало в стенах университета, она не желала.

Отсутствие реформ порождает революции. Историк Михаил Карпович, преподававший после русской революции в американских университетах, высказывал весьма любопытную гипотезу о самоподрыве режима. Пробивая «окно в Европу», самодержавие руководствовалось исключительно прагматическими соображениями и собственными нуждами. Но, следуя этим курсом, оно неизбежно поощряло те новые тенденции, которые вступали в противоречие с самими основами режима²⁴. Эта гипотеза вполне объясняет и историю борьбы за университетскую автономию. Развитие университетов было жизненно необходимо для России. Однако вместе с рождением новых институтов и пробуждением гражданской жизни должен был меняться и политический строй. Вместе с наукой в Россию проникали идеи свободного и справедливого общественного переустройства, конституционного правления, гражданского равенства и личных свобод. Самодержавие, которому в России принадлежала поистине всеобъемлющая роль, таким образом, подрывало свои же основы.

Дух свободы в несвободном обществе

Наука всегда содержит в себе целый ряд моральных императивов. На первый взгляд, эти императивы могут быть и не связаны напрямую с научной деятельностью, но без них невозможно было бы существование научного сообщества. Это относится прежде всего к идее свободы, не только интеллектуальной, но и гражданской. «Интеллектуальная независимость для ученого-исследователя является самой насущной необходимостью, — писал Альберт Эйнштейн. — Но и политическая свобода также чрезвычайно важна для его работы. Он должен иметь возможность высказывать то, что считает правильным, и это не должно сказываться на его материальном положении или ставить под угрозу его жизнь»¹. Американский социолог Роберт Мертон, исследовавший универсальный этос науки, пришел к выводу о том, что взаимодействие познавательных и социальных компонентов в нормах поведения исследователей привело к формированию таких императивов, как универсализм, всеобщность, незаинтересованность и организованный скептицизм². Согласно этим императивам, исследователь оценивает труд своих коллег не на основе личных симпатий, а руководствуясь исключительно универсальными критериями и процедурами обоснованности знания (универсализм). Результаты научной деятельности рассматриваются как продукт совместных усилий и сотрудничества исследователей (всеобщность). Ученый должен быть готов согла-

ситься с любыми обоснованными фактами, даже если они противоречат его собственным убеждениям (незаинтересованность). И наконец, необходимым условием развития науки является установка на предельную самокритичность и участие в критике существующего знания в целях его улучшения (организованный скептицизм). Однако универсальный этос науки, проникая в систему мысли, господствующую в той или иной культурной традиции, всегда порождает весьма уникальные следствия.

1.

Ценность суверенной личности, свободной от догм и предрассудков сословного общества, была одной из наиболее значимых в среде университетских интеллектуалов. Именно личность, имеющая собственный взгляд на мир и наделенная нравственными добродетелями, оказывалась в центре просветительской деятельности «ученого сословия». Это вполне объяснимо. Ведь сам характер исследовательской и преподавательской деятельности предполагает личную свободу и проявление индивидуальности. Обратная сторона этого проявления — неизбежные раздоры и несогласованность действий в среде российской профессуры. И когда интеллектуалы выступали на политической сцене, такая несогласованность часто становилась причиной их поражения перед лицом более сплоченных и менее сомневающихся в своей правоте оппонентов.

Не следует забывать, что в силу обстоятельств, о которых уже шла речь, российская профессура имела возможность непосредственно познакомиться не с французским, а немецким вариантом Просвещения. В результате в профессорской среде второй трети XIX века особой популярностью пользовалось гегельянство. Любопытно, что в российских условиях абстрактные категории философии Гегеля были применены к анализу внутреннего мира и частной жизни

человека. И такой анализ оказался столь же плодотворным, сколь и специфичным: личность получила возможность по-новому почувствовать свой внутренний мир. Такое самоуглубление вряд ли было возможно еще несколькими десятилетиями ранее³. В подтверждение этой мысли обратимся к воспоминаниям о профессоре Грановском, который слушал лекции в Берлине именно в то время, когда дух немецкой классической философии был еще силен. «В “Логике” Гегеля я до сих пор верю», — говорил Грановский Чичерину через несколько лет после возвращения в Россию. «Из гегельянской философии он заимствовал не теоретическое сцепление понятий, не отвлеченный схематизм, которого он как историк был совершенно чужд, а глубокое понимание существа и целей человеческого развития, причем он весьма далек был от ошибки тех философствующих историков, которые частное жертвуют общему и в лице видят только слепое орудие господствующего над ним исторического рока», — вспоминал о нем Борис Чичерин. И далее: «Грановский глубоко верил в свободу человека, сочувствовал всем человеческим радостям и скорбям и вполне понимал, что если в общем движении отдельное лицо служит орудием высших целей, то в осуществление этих целей оно вносит личный свой элемент, через что и дает историческому процессу своеобразное направление». Разумеется, особое отношение к личностному началу должно было проявиться и в лекциях Грановского: «Он умел с удивительным мастерством изображать лица, со всеми разнообразными сторонами их природы, со всеми их страстями и увлечениями... И все эти художественные изображения проникнуты были теплым, сердечным участием к человеческим сторонам очерченных лиц. Все преподавание Грановского насквозь было пропитано гуманностью, оценкою в человеке всего человеческого, к какой бы партии он ни принадлежал, в какую бы сторону ни смотрел»⁴. Такой взгляд на исторический процесс выглядит несколько необычным на фоне

характерного для социальной мысли России представления об истории как арене действия надчеловеческих сил, будь то силы Провидения или, позже, абстрактные законы исторического материализма. Но Грановский в своих убеждениях не был одинок.

Константин Кавелин слой просвещенных личностей называл «островком среди моря варварства». По словам историка русской философии Василия Зеньковского, «для философии Кавелина очень типичен его антропоцентризм, — его интересует человек, и только человек»⁵. Этим объясняется и интерес позднего Кавелина к психологии: «Психическая и материальная жизнь» стоит, по его мнению, «на одной общей почве». Этой почвой является внутренний мир человека, а «мир внешних реальностей есть продолжение личного, индивидуального субъективного мира». Формирование просвещенного слоя личностей Кавелиным рассматривалось как практическая задача: «Требования времени настоятельно толкают нас на развитие нравственной личности, самостоятельной и самодеятельной — этой основы не только гражданского и общественного, но вообще всякого человеческого существования». Не без «некоторой зависти» он смотрел на Запад, где «в основание европейской общественности легла сильно развитая личность». Он писал: «Личная независимость, личная свобода, возможно-нестесненная, всегда были исходной точкой и идеалом в Европе. Весь ее гражданский и политический быт сверху донизу был построен на договорах, на системе взаимного уравнивания прав». Понимал он и то, что в России личность «как ясное сознание своего общественного положения и призвания, своих внешних прав и внешних обязанностей, как разумное поставление ближайших практических целей и такое же разумное и настойчивое их преследование» представляет собой «почтенное и, к сожалению, редкое изъятие из общего уровня крайней распушенности во все стороны». В этом

Кавелин видел причину того, что в России «в ходе общественных и частных наших дел нет ни обдуманной системы, ни даже последовательности, нет преемственности от поколения к поколению и потому нет капитализации труда, знания, культурных привычек». Здесь же коренится и неустойчивость общественного развития: «Сменились люди, и дело пропадает... до тех пор, пока случай не натолкнет опять на то же дело другого человека»⁶.

Стремление университетской профессуры к утверждению личностного начала было столь очевидным для современников, что не могло не обратить на себя внимание русских писателей. Профессор Николай Степанович из «Скучной истории» Антона Чехова объясняет свое пристрастие к французской литературе весьма характерным образом: французские книги «не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества — чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своей совестью. Один боится говорить о голом теле, другой связал себя по рукам и по ногам психологическим анализом, третьему нужно “теплое отношение к человеку”, четвертый нарочно целые страницы размазывает описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности... Один хочет быть в своих произведениях непременно мещанином, другой непременно дворянином и т.д. Умышленность, осторожность, себе на уме, но нет ни свободы, ни мужества писать как хочется, а стало быть, нет и творчества»⁷.

Культура России обретала индивидуально-личностное измерение постепенно. Несмотря на усилия цензоров, голос русской литературы звучал все более отчетливо. После Алексея Хомякова развивается светское богословие, выросшее в такое уникальное и многогранное явление, как русская религиозная философия. Заявляют о себе и ради-

кально настроенные молодые революционеры, отказавшиеся от салонных дискуссий в пользу подпольной и уличной активности. В условиях такого многоголосия ценности индивидуализации находили свое проявление в различных социальных слоях и идейных течениях. Однако представления о личной свободе в разнообразных направлениях общественной мысли существенно различались.

Поэтому для понимания особенностей открытия индивидуальной свободы в среде университетских ученых необходимо сделать некоторые оговорки. Личностное начало не предшествовало и не противопоставлялось большинством из них общему социальному порядку, как это будет у радикальной части русской интеллигенции и у последующих поколений либералов. Более того, личностное и государственное начала не были взаимоисключающими. Константин Кавелин и Борис Чичерин напрямую связывали развитие личности с развитием государства, возникновение которого рассматривалось ими как освобождение от кровного быта и начало самостоятельного действия личности. От государства университетские ученые ожидали свобод, требовали создания условий для развития индивидуальности. Они боролись за университетскую автономию. Но они не выступали против государства. Такое понимание личной свободы весьма далеко от безусловного провозглашения морального превосходства личностного «Я» над обществом и государством.

Открытие пространства личной свободы означало открытие не только индивидуализма, но также и особого пространства, в котором возможно совмещение личного и государственного. Эволюция проекта Просвещения приводит к изобретению «общества» как символической репрезентации пространства коллективного существования свободных граждан⁸. В европейской мысли, которой вдохновлялись российские интеллектуалы-просветители, понятия личности и общества развивались одновременно. Общество

мыслилось как пространство гражданской свободы и ответственности личности. Поэтому западная мысль сосредотачивалась вокруг проблемы укрепления социальных связей, разрабатывая идеи общественного договора и развивая идеалы социального устройства. Эти тенденции нашли свое проявление и в социологии Эмиля Дюркгейма, который одним из первых провозгласил возможность исследования социального только через социальное, которое не может быть сведено к психологическому. Именно в этих контекстах развивались представления о свободе личности в среде университетской профессуры.

Принципиально иные представления о личной свободе были у той части западников, которая вышла из профессорских кружков и последовала за революционной идеей. Для них ценность представляла личность не только свободная, но и противостоящая самодержавной власти и существующему порядку. Весьма характерны в этом отношении высказывания Виссариона Белинского, увлекавшегося философией Гегеля и входившего в гегельянский кружок, но перешедшего затем на более радикальные персоналистские позиции. «Что мне в том, — писал он, — что живет общее, когда страдает личность». Или «...для меня теперь человеческая личность выше истории, выше общества, выше человечества»; «общее — это палач человеческой индивидуальности; оно опутало ее страшными узами»⁹. Такая абсолютизация личного начала склоняла Белинского к утопическим идеалам и к тому радикализму, который не мог найти поддержку в профессорской среде. Любопытны строки из письма Белинского Боткину: «Я начинаю любить человечество по-маратовски: чтобы сделать счастливую малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную»¹⁰. В этом же направлении, хотя и по-иному, чем у Белинского, развивалось мировоззрение Александра Герцена, что и стало одной из причин разрыва его с профессорским кругом.

Даже наиболее либеральной профессуре была чужда идея выведения общественного из индивидуального. Личность понималась ими через призму социального, а общественный порядок мог обосновываться взаимодействием индивидов (как это было в известных им западных теориях общественного договора), но никак не индивидуальной волей, противостоящей общему. Однако именно противопоставление индивида обществу, провозглашение его первичным по отношению к общественному порядку стало характерно для радикально настроенных студентов, которые затем вступили на путь нигилизма и терроризма, захлестнувшего Россию через несколько десятилетий после оживления университетов и появления кружка Грановского. В «Бесах» Достоевского написанный с Грановского Верховенский-старший объединен одной фамилией со своим сыном-террористом Петром Верховенским. Петр воплощает в себе самые отвратительные черты организатора тайного общества «Народная расправа» Сергея Нечаева. Не следует забывать, что в позициях либеральной профессуры и радикальных нигилистов существует принципиальная разница и нарисованная Достоевским родственная связь весьма сомнительна (Сергей Нечаев, кстати, был сыном маляра, а не профессора).

Но для Федора Достоевского эта разница в позициях не была существенной. И, несмотря на прямое отречение Верховенского-старшего от Петра Верховенского, роман скорее не о различиях, а о преемственности и связях между ними. Отстаивая идеи «почвенничества», Достоевский понимал личную свободу совсем в ином смысле. Для него свобода состояла в сознательном отречении от эгоистического в пользу коллективной индивидуальности, выраженной в глубинной народной традиции.

Несколькими десятилетиями ранее подобную позицию в отношении проблемы личной свободы высказывали

оппоненты Грановского и его сторонников. Одним из наиболее ярких среди них был Алексей Хомяков. Разрешение обостряющихся общественных противоречий он видел в развитии способности личности отречься от личного произвола. Любопытно, например, что неудачи в разрешении противоречий между трудом и капиталом на Западе Хомяков видел в нравах рабочего класса: «Эти нравы — плод жизни, убивший всю старину с ее обычаями... — не допускают ничего истинно общего, ибо не хотят уступить ничего из прав личного произвола. Для них недоступно убеждение, что эта уступка есть уже сама по себе выгода для лица; ибо, уступая часть своего произвола, оно становится выше как лицо нравственное, прямо действующее на всю массу общественную посредством живого, а не просто отвлеченного или словесного общения. Это убеждение будет доступно или, лучше сказать, необходимо присуще человеку, выросшему на общинной почве»¹¹. Согласно славянофилам и «почвенникам», индивидуальностью — а значит, и индивидуальной свободой — должны быть наделены не отдельные личности, а «народ» в целом. Вне этой «народной почвы» любые «великодушные идеи» по социальному переустройству обретают характер догм, неизбежно требующих «страшного насилия».

Но такая подмена понятия «общества» понятием «народ» имела в идейной и политической жизни России весьма серьезные последствия. В отличие от «общества», создающегося социальными связями отдельных личностей, «народ» представляет собой абстрактную целостность, в которой «растворяется» любое индивидуальное начало. И сегодня общественный интерес (который может возникать только в результате диалога между свободными гражданами и различными социальными группами) демагогически подменяется абстрактной «волей народа» или «волей большинства», что выглядит совсем уж абсурдно в условиях глубоко расколотого и атомизированного общества.

2.

Идея общественного развития, увлекавшая «ученое сословие», понималась университетскими интеллектуалами в тесной связи с необходимостью совершенствования личности и воспитания человека, мыслящего свободно и отбросившего разного рода предрассудки и стереотипы. В профессорской среде возникали различные просветительские проекты распространения знаний: издавались журналы и научно-популярная литература, осуществлялись переводы и реферирование западных исследований, открывались библиотеки для крестьян. «Библиотеки профессоров всегда были открыты для студентов, которых профессора побуждали к чтению, давая им книги и спрашивая о прочитанном. Всякий молодой человек, подававший надежды, делался предметом особенного внимания и попечения», — вспоминал Борис Чичерин¹². Все эти усилия были направлены не только на распространение знаний, но прежде всего на воспитание самостоятельности мышления. В этом состояла суть проекта Просвещения, по крайней мере в немецком или кантианском его варианте: учиться мыслить самому, самому пользоваться своим разумом, самому искать свое место — место собственного опыта в общественном развитии. Отсюда стремление университетского сообщества поддерживать неограниченный обмен всеми результатами и мнениями, от которого и зависит прогресс науки.

Точка зрения свободного, рационально мыслящего «Я» высоко ценилась в среде университетских ученых. Чеховский профессор Николай Степанович из «Скучной истории» осуждает своего коллегу Петра Игнатьевича именно за отсутствие этой свободы в мышлении: за сковывавшую его мысль «фанатическую веру в свою непогрешимость», за то, что он «не знаком с сомнениями и разочарованиями», за «рабское поклонение авторитетам», за то, что

«разубедить его в чем-нибудь трудно, спорить с ним невозможно»¹³. Такой тип в профессорской среде не был господствующим.

В качестве основного инструмента развития самостоятельного мышления определялся разум, который должен был освободить человека от унижающих его достоинство заблуждений. Но разум должен был также изменить быт и нравы, освободить общество от предрассудков и стереотипов. Поэтому разум мыслился как инструмент не только личного развития, но и общественного прогресса. «Погасите в людях стремление к идеальному, выражением которому служит разум, — писал профессор Никитенко, — и вы увидите их погрязшими в материальных и сверхкорыстных побуждениях. Как животные, они будут довольствоваться гнездами и логовищами, не помышляя о будущем и возможном усовершенствовании»¹⁴. Разумное начало полагалось также и источником должного в деятельности людей: «Существенная ошибка людей в понятиях о жизни есть та, что ее целью они считают счастье, тогда как разум должен ставить на место счастья долг. Счастье или наслаждения даны нам как пряности, как приправа к жизни, без которых она была бы чересчур водяниста и невкусна. Но главное дело в том, чтобы мы исполнили закон развития»¹⁵.

Подчеркнутая рациональность — характерная черта культуры университетского сообщества. Профессор вел себя рационально не только на кафедре или во время дискуссий, но и в быту. Иногда рационализм доводился до крайности, а рациональные построения превращались в нечто, далекое от реальности. Эта характерная для профессуры оторванность рациональных схем от жизни часто становилась предметом критики. Любопытны страницы из автобиографического романа Андрея Белого «Крещеный китаец», посвященные профессору Летаеву, прообразом которого послужил отец писателя профессор Бугаев:

«...— все ходит, бывало, за мамой и все собирается дать рациональный совет, убедить ее в способах, истекающих из точки зрения папы; но рациональный совет его кажется мамочке, бабушке, Доте, Дуняше и мне только змеем словесным, пускаемым в небо страницей томика: —

— видел как дергались в небе бумажные змеи за хвостом из мочала: —

— Мы головы все задерем: ничего не пойдем; где все это живет и летает у папы — на небе? Но называется все это: дать рациональный совет. —

— Или способы: способы предлагались всегда им на все; и казалось мамочке, бабушке, Доте, Дуняше и мне: если бы мы принялись прилагать эти «способы» к жизни, открылось бы тотчас же «Общество распространения технических знаний» у нас, основателем общества сделали бы папочку; и секретарь заседал бы в столовой и писал протоколы, от скуки бы умерли мы. —

— Точки зрения: как разовьет точки зрения он, так становятся глазки его неприметными точками зрения; что же получается? Заговорит за столом о своих точках зрения; заговорит и не кушает: мыслями он разрезает котлеты, словами жует...»¹⁶

Иное отношение к разуму было у Алексея Хомякова — традиционного оппонента московского кружка профессора Грановского. По свидетельству Александра Герцена, Хомяков «отвергал возможность разумом дойти до истины; он разуму давал одну формальную способность — способность развивать зародыши или зерна, иначе получаемые, относительно готовые (то есть даваемые откровением, получаемые верой)». Более того: «Если же разум оставить на самого себя, то, бродя в пустоте и строя категорию за категорией, он может обличить свои законы, но никогда не дойдет ни до понятия о духе, ни до понятия о бессмертии и проч. На этом Хомяков бил наголову людей, остановившихся между религией и наукой. Как они ни бились в формах гегелевской

методы, какие ни делали построения, Хомяков шел с ними шаг в шаг и под конец дул на карточный дом логических формул или подставлял ногу и заставлял их падать в “материализм”, от которого они стыдливо отрекались, или в “атеизм”, которого они просто боялись»¹⁷. Сторонники и последователи Хомякова, таким образом, в самом процессе познания отвергали возможность зарождения и накапливания знания в результате усилий познающего субъекта. Знание уже существует в готовом виде и может быть дано лишь свыше. Споры между сторонниками Грановского и Хомякова — между западниками и славянофилами — отражали размежевание, которое существовало и внутри европейского Просвещения. Рационализму французских просветителей был противопоставлен немецкий романтизм и идеализм, который основывал свою теорию познания на духовной активности разума, опирающегося уже не на логику, а на интуитивное знание высших истин. Именно эти идеи романтизма были восприняты сторонниками Алексея Хомякова.

Однако в европейских интеллектуальных спорах Нового времени противопоставление разума и интуиции, экспериментального знания и веры не было столь непреодолимым, как это случилось в России. Западники и славянофилы вскоре перестанут восприниматься как единое целое, как своеобразный «двуликий Янус» (как их называли современники). Их позиции радикально разойдутся, что станет трагической особенностью социальной мысли в России.

Впрочем, противопоставление разума и вдохновения существовало в русской культуре задолго до споров между западниками и славянофилами. Еще Дельвиг в одном из своих стихотворений подчеркивал противоположность между Уранией, покровительствующей ученому-математику, и Музой, вдохновлявшей поэта. Строки, посвященные появлению перед ученым Урании подчеркнута прозаичны и рационально холодны:

На острый нос очки надвиня,
Берет орудия богиня,
Межует облаков квадрат.
Большие блоки с небесами
Соединяются гвоздями
И под веревкою скрипят.

Явление Музы, напротив, описывается возвышено и вдохновенно:

При звуке сладостных лиры
Впрягутся в облако зephyры,
Крылами дружно размахнут,
Помчатся с Пинда, понесут, —
И вот в зephyрном одеянии,
Певец! она перед тобой
В венце божественном сиянии,
Пленяющая красотой!¹⁸

Вряд ли здесь стоит делать обширные отступления о значении в подлинном научном творчестве не только холодного расчета, но и вдохновенного воображения и интуиции. Кстати, об этом весьма убедительно говорил Лобачевский, не мысливший математику без фантазии. И эту же мысль подчеркивает чеховский профессор Николай Степанович, видевший в лице своего коллеги Петра Игнатьевича проявление сухой, узкоспециальной учености, родившейся в условиях режима Николая I («Кажется, запой у него под самым ухом Патти, напади на Россию полчища китайцев, случись землетрясение, он не пошевелинется ни одним членом и преспокойно будет смотреть прищуренным глазом в свой микроскоп»). Но такой тип ученого не мог быть связан с подлинным развитием науки. В рассказе Чехова предполагается, что Петр Игнатьевич за свою жизнь приготовит несколько сотен препаратов необычайной чистоты, напишет много сухих, но приличных рефератов, но пороха не изобретет: «Для пороха нужны фантазия, изобретательность, умение угадывать, а у Петра Игнатьевича нет ничего

подобного. Короче говоря, это не хозяин в науке, а работник»¹⁹.

Но речь не о соотношении разума и интуиции в науке и культуре. Речь о другом. В российской культуре две стороны познавательной активности личности — рациональная и интуитивная — оказались не только разделены, но и противопоставлены. За рациональными построениями и научными моделями, как считали оппоненты университетских интеллектуалов, утрачивалась «живая жизнь» («Живая жизнь от вас улетела, остались одни формулы и категории...» — писал Достоевский Кавелину²⁰). Но в результате и сама «живая жизнь» утрачивала возможность стать рационально упорядоченной и оказывалась во власти иррациональной стихии.

Вопрос о соотношении разума и интуиции — принципиальный. Он имеет прямое отношение к проблеме связи интеллектуальной деятельности и свободы. Рационализация и технологизация общественной жизни может привести к выведению из публичных дискуссий вопросов, разрешение которых объявляется зависимым от применяемых технологий или «незыблемых» научных законов, подобных догматизированным в советском общественном сознании «законам диалектики», которые якобы определяют направление общественного развития и таким образом радикально сокращают пространство свободы. Демократия в этом случае будет подменяться предметной закономерностью, а сфера гражданской ответственности будет радикально сокращаться и отдаваться в жертву технократизму. На эту особенность указывает Юрген Хабермас. Он замечает, что отношения зависимости специалиста от политика перевернулись на 180 градусов. Политик, который обладал некоторой свободой принятия решений, теперь «становится исполнительным органом научного разума, который в конкретных условиях осуществляет предметное давление используемых техник и вспомогательных средств». И сегодня «проблематика приня-

тия политических решений сократилась до самого ядра, которое просто не может далее подвергаться рационализации». Впрочем, если политическая свобода растворяется под натиском применяемых техник, то это «служит в конечном счете лишь тому, чтобы завуалировать естественные интересы и донаучные решения»²¹. Расширение пространства гражданской свободы, которое сегодня необходимо вырывать из-под власти рациональной «логики вещей», представляет собой также и фундаментальную проблему познания, в котором необходимо искать баланс между рациональными построениями и жизненным миром.

3.

Идеальные представления, господствовавшие в XIX веке в российской культуре, чаще всего исходили из идиллических определений совершенной жизни в гармонии с природой и представлений об общинной жизни. Алексей Хомяков и его последователи искали основания этой идиллии в прошлом, которое было разрушено петровскими реформами. Чуть позже Федор Достоевский и Лев Толстой, каждый по-своему, увидят спасение в возвращении к народной «почве» или в «опрощении» и единении с крестьянским бытом. Оформившийся к концу века русский консерватизм вступит в непримиримую борьбу с прогрессом, настаивая на необходимости ретроградных реформ и «подмораживании» России в целях возвращения ее к общинным истокам. На противоположном фланге борьбы идей жаждущая изменений радикальная молодежь со свойственным ей нигилизмом будет отрицать не только идеалы прошлого и весь существующий порядок, но и саму возможность эволюционных изменений, которые требуют терпения и каждодневных усилий.

На этом фоне просыпавшейся общественной жизни идеалы, формировавшиеся в среде «ученого сословия»,

обретали вполне определенную специфику. В устройстве общественной жизни рисовались идеалы цивилизованности в противовес естественности и традиционности. Картины городской жизни с рукотворными парками и живописными прудами, каналами и мостами явно предпочитались видам необжитой природы. Человек понимался не как часть Вселенной, а как гражданин, живущий не в природной, а в социальной среде. Отсюда уважение к праву и этикету, особое внимание к мелочам, весьма заметное на фоне взбаламученной русской жизни.

Развитие научного мировоззрения привносило новую идею: совершенство не существует «естественно», оно достигается во времени посредством творческих усилий самого человека. Наука должна не столько играть роль зеркала, в котором бы отражались естественные картины мироздания и социальной жизни, сколько создавать альтернативные воображаемые пространства, задающие направление общественного развития. Отсюда особое чувство времени в среде университетских интеллектуалов. Историческое время представлялось ими не хранителем традиций и вековой мудрости, а своеобразной дорогой к совершенствованию общественной жизни. Вера в прогресс связана с идеей творческого гения, усилия которого открывают новые возможности для разумного устройства мира. Такое переживание времени было в значительной мере навеяно философией Гегеля, популярность которой распространялась от немецких интеллектуалов первых десятилетий XIX века к их российским коллегам.

Мысль о том, что человеческий мир творится самим человеком, а духовные основания прогресса рациональны по своей природе, имела заметные последствия для российской истории и культуры. Идея прогресса позволяла подчинить представления о совершенном обществе идее эволюционного развития. Из отвлеченной мечты, которой реальность приносится в жертву, общественный идеал пре-

вращается в источник *должного* — источник тех образцов, которые являются критериями общественного прогресса. Представления об идеале, таким образом, примирялись с необходимостью длительного и кропотливого преобразования общества. В самом начале XX века профессор Павел Новгородцев доказывал, что связь истории с «миром горним и высшим» не в достижении «вечных и неизменных результатов», а в «неустанном стремлении к осуществлению вечного идеала». Отсюда его призыв «отказаться от надежды в близком или отдаленном будущем достигнуть такой блаженной поры, которая могла бы явиться счастливым эпилогом пережитой ранее драмы, последней стадией и заключительным периодом истории»²².

Однако подобные голоса российской профессуры будут не слышны в революционном порыве, захлестнувшем Россию. В этом порыве рисовалась иная красота, иная жизнь, устремленная в иные, оторванные от земной истории, миры, а любая кропотливая работа по преобразованию общества обесценивалась. Для исканий социального идеала становятся характерными, по словам Сергея Булгакова, «известная неотмирность» и хорошо узнаваемая «эсхатологическая мечта о Граде Божием, о грядущем царстве правды (под разными социалистическими псевдонимами)»²³. Культурные особенности России направляют ее развитие в русло, противоположное эволюционизму.

Одну из существенных причин крушения реформаторских надежд университетских ученых следует искать в особенностях переживания исторического времени различными социальными слоями. «Ученое сословие» делало ставку на преобразования, разворачивающиеся в русле исторической длительности. Однако именно эта кропотливая работа по преобразованию общества не воспринималась в культуре России начала XX века как значимая ценность. «И парламентаризм, и референдум, и социальные реформы, и социальное воспитание с точки зрения условной и практи-

ческой оправдали себя, — писал Павел Новгородцев. — Но опыт их применения показал, что каждое из этих средств имеет значение лишь относительное, что в действительности оно сочетается с неизбежными затруднениями и недостатками. Потерпели крушение не временные политические средства, а утопические надежды найти безусловную форму общественного устройства»²⁴.

Если интеллектуальной элите идея прогрессивного развития была хорошо знакома, то в других слоях приходившего в движение российского общества господствовали иные представления. Существует, как известно, два принципиально различных способа соотнесения пути достижения общественного идеала с историческим временем. С одной стороны, этот путь можно вписать в историческую длительность, с другой — его можно проложить «в обход» истории.

Стремление вырваться за пределы земной истории характерно для российской культуры, и сегодня имеющей прочный антимодернистский вектор. Это стремление сталкивает российских интеллектуалов с консерватизмом царского режима, с одной стороны, и с нигилизмом радикальной молодежи, наиболее полно проявившемся в большевизме, — с другой. Консерватизм и большевизм принципиально отличаются друг от друга, но их объединяет желание вырваться из-под власти исторического времени. Первые стремятся остановить прогресс, ведущий к «концу времен», вторые грезят о новом обществе, которое будет создано после «конца истории».

Консервативная идеология радикальным образом помещает социальный идеал в самую жизненную реальность, которая и объявляется воплощением «всей полноты смысла». Однако такое «тавтологическое» слияние реальности и идеала само по себе еще не снимает напряженности между ними. Поэтому консерваторам необходим следующий шаг. Поскольку идеал уже воплощен, то те явления, которые в него не вписываются и нарушают социальную идиллию,

объявляются в лучшем случае нехарактерными (например, привнесенными с чуждого Запада). А в худшем — несуществующими или недостойными существования. Поскольку идеал уже воплощен, то история ведет лишь к утрате первоначального смысла и завершается огненной бездной «конца времен». Один из основоположников русского консерватизма Константин Леонтьев утверждал: «...в России большинство до сих пор еще наивно верит, что все наши бедствия происходят от отсталости, а не от прогресса». Будущее пугало Леонтьева, он боялся стремления «цивилизованного человечества» в «какую-то темную бездну будущего... бездну незримую еще, но близость которой уже на всех мало-помалу начинает наводить отчаяние и ужас!..» Поэтому прогресс оказывался как бы перевернутым, идущим от позитивного прошлого к пугающему будущему: «В *прогресс* верить надо, но не как в *улучшение* непременно, а только как в новое перерождение тягостей жизни в новые виды страданий и стеснений человеческих. *Правильная вера в прогресс* должна быть *пессимистическая*, а не благодушная, все ожидающая какой-то *весны...*»²⁵.

Русские консерваторы отчаянно пытались спасти Россию от всех «ужасов прогресса», вступая в борьбу с ценностями, привнесенными наукой и образованием. Константин Леонтьев даже предлагал весьма любопытный способ «создания своеобразной цивилизации» на основе сохранения «варварства»: «Да! В России еще много безграмотных людей; в России много еще того, что зовут «варварством». И это наше счастье, а не горе. Не ужасайтесь, прошу вас; я хочу сказать только, что наш безграмотный народ более, чем мы, хранитель народной физиономии, без которой не может создаться своеобразная цивилизация»²⁶. Прорвавшиеся к власти после трагической гибели Александра II консерваторы взялись за создание такой «своеобразной цивилизации», накрывая Россию «совиными крылами» и погружая ее в сон самодержавной утопии.

Если консерваторы стремились отменить историю на том основании, что она уводила человечество из счастливого «золотого века», то большевики свой «золотой век» помещали в постисторическое будущее. И главным врагом большевиков оказывался тот же самый прогресс. Большевистские представления стали следствием рокового соединения проникавших из Европы коммунистических идей с миссионерскими особенностями российской культуры и ленинской версией хилизма. В результате коммунистические грезы впервые из утопии превратились в мощную мобилизующую силу. Предприняв детальное исследование развития капитализма в России, Ленин понял, что отечественный капитализм слишком слаб, чтобы стать той основой, в лоне которой в обозримой исторической перспективе может зародиться не только «могильщик буржуазии», но и само социалистическое сознание. И поэтому он стал грезить не о российском социализме, а о мировой революции. Именно в России как в «слабом звене» мирового империализма, по мысли Ленина, наиболее вероятен мгновенный прорыв к обществу будущего. Невозможность построения коммунизма в экономически отсталой стране большевиков не пугала, поскольку после революционного слома история отменяется (вместе с экономической отсталостью), а победа социализма на Западе должна была распахнуть врата новой жизни и для России. На этом фоне любые реформаторские усилия не только обесцениваются, но и определяются как вредные.

Временной код, определявший не только идеологическую борьбу, но и всю культурную ситуацию в России конца XIX — начала XX века, имел одну роковую особенность. В рамках этого кода невозможно было воспринимать процесс исторического становления в качестве пути к осуществлению идеала. И эта антимодернистская по своей сути особенность объединяет консервативную утопию остановки времени и большевистскую мечту о внезапном и

счастливым прорыве за пределы истории — «из царства необходимости в царство свободы». Оба пути — большевистский и консервативный — были построены на отрицании прогресса, ценность которого является ключевой в классической науке. И консерватизм, и большевизм ради своих утопических грез готовы были не только блокировать любое совершенствование существующего порядка, но и вступить в тотальную войну с реальностью. Эта война была подготовлена совместными усилиями консервативных идеологов самодержавия и революционерами-радикалами. И те, и другие считали достойным существования только идеальный мир, который устанавливается либо через воскресение воображаемого прошлого в настоящем (консерватизм), либо через тотальный прорыв к воображаемому постисторическому будущему (большевизм). В результате утопические мечты прорываются в российское общество с двух сторон и в революционном пожаре разрушают его.

Университетские профессора, верившие в возможность общественной эволюции на основании раскрепощения творческих сил освобожденной и просвещенной личности, оказались в меньшинстве. И певец революции поэт-футурист Владимир Маяковский сам будет говорить «о времени и о себе», бросая презрительные взгляды в сторону профессора, снимающего со своего носа «очки-велосипед».

* * *

Эти сопоставления приводят к любопытному выводу. Понимание свободы личности в духе безусловного превосходства индивидуального начала над общественным не было характерно для среды «ученого сословия» XIX века. Даже среди наиболее либерально настроенных профессоров свобода никогда не понималась в духе произвола и вседозволенности. Но эта позиция часто приписывается им, хотя она была характерна скорее для революционно

настроенных радикалов, подвергавших профессуру критике за реформизм и соглашательство с властью. Причиной тому, возможно, характерная для традиционного антимодернистского мышления убежденность, выраженная в словах Ивана Киреевского: «Добрые силы в одиночестве не растут — рожь заглохнет меж сорных трав». Традиционалисты, видевшие угрозу в самом факте индивидуализации и рационализации общественной жизни, часто винили научное сообщество в том, что ему не было свойственно. Впрочем, если радикалы обвиняют в нерешительности, а консерваторы — в радикализме, то это и является признаком освобождения университетских ученых от опасных стереотипов, которых в предреволюционной России было достаточно с обеих сторон политического спектра.

*«Профессорская культура»:
историко-культурные контексты
«расколдованного» мира*

«...На то “мы” профессорский круг, чтоб младенцы у “нас” не так ползали, как у всех прочих, а конституционно и позитивистически». Этими словами воспитанный в профессорской среде сын профессора математики Бугаева, известный поэт-символист Серебряного века Андрей Белый подчеркивает незыблемые корпоративные установки «ученого сословия»¹. Он создал целую галерею образов профессуры рубежа XIX–XX веков, и стал, пожалуй, лучшим бытописателем этого круга. Понятие «профессорская культура» принадлежит ему и указывает на устои профессорского быта, который к концу XIX столетия обретает явные и устойчивые очертания. Именно профессорский быт описывается Андреем Белым как некая среда, в которой уравниваются «яркие, удивительные, благородные и талантливые фигуры», связанные «чужацеством, бессилием, перепугом, рассеянностью и круговою порукою: не колебать устоев». Сам Андрей Белый относился к «профессорской культуре» критично. С нескрываемой язвительностью он писал о ее косности и ревнивном следовании сложившимся стереотипам: «Кариатидность, каменность, неизменная косность портала жизни; все, что менялось, менялось когда-то, при Александре Втором; при Александре Третьем сплошное “во веке веков” водворилось»².

Но «профессорская культура» складывалась именно в том пространстве, в котором она отрывалась от структур повседневности. Это пространство задавалось напряжен-

ностью между идеями и бытом, между должным и сущим. Любой интеллеktуал никогда не будет довольствоваться тем, что есть. Он всегда будет устремлен в неизведанное.

1.

Тема профессорского быта возникает неслучайно. Любая культурная тенденция в своем оформлении проходит разные стадии. И рубеж XIX–XX столетий для профессорского круга стал временем закрепления уже оформившихся устоев. Очевидно, что этому закреплению предшествовал длительный процесс, начало которого можно увидеть в 30–40-е годы XIX века, когда появляются первые профессорские кружки. Или еще раньше — в пушкинское время, когда русская литература вполне четко фиксирует новый социальный тип лишнего человека, не вписывающегося в общую культурную среду и формы быта, характерные для высшего общества. Любопытны замечания Дмитрия Овсяннико-Куликовского по поводу психологии русских интеллеktуалов того времени: герой поэмы Александра Грибоедова «Горе от ума» Чацкий, столкнувшись с «обскурантизмом, отсталостью и нравами окружающего общества», не замечает иллюзии, которой он невольно подвергается. «Чацкий — типичный интеллеktуал начала XIX века, просвещенный человек, проповедник новых идей, пропагандист-моралист — противопоставляет свои понятия понятиям среды, вступает в споры, проповедует свои взгляды Фамусову и Скалозубу, предполагая, что тут происходит столкновение нового мирозерцания со старым, и обольщаясь мыслью, будто можно “горячим словом убеждения” обратить отсталых и темных людей “на путь истины”». В своей статье, написанной как ответ критикам радикальной интеллигенции, объединившимся в 1909 году в сборнике «Вехи», Овсяннико-Куликовский замечает весьма важную деталь: «Идеи Чацкого сталкиваются не с идеями

Фамусовых и Скалозубов, а с их традиционными психическими навыками, которых не проймешь “горячим словом убеждения”, — и в борьбе с которыми бессильно само образование, пока устои быта остаются те же»³.

Видимо, самым фактом столкновения идей интеллектуалов не с альтернативными оформленными идеями, а с устоями быта можно объяснить, что российская профессура воспринимала просветительские идеи и науку как источник не только альтернативных суждений по тому или иному вопросу, но прежде всего нового императива поведения в повседневной жизни.

Если это так, то понятным становится и происхождение описанных Андреем Белым структур повседневности, характерных для профессорского круга. Уже в полемике середины века затрагиваются принципиальные вопросы, относящиеся к устройству быта. Один из идеологов славянофильства Константин Аксаков, например, критиковал профессора Никитенко за его предложение «бросить некоторые из старинных привычек (новое платье, чай и кофе вместо охмеляющего питья, отдыхать в удобных домах вместо дымных логовищ)». Очевидно, что перечисленные «старинные привычки» имеют определяющее значение не только в выборе образа жизни, но и, соответственно, образа мысли и действия.

И к рубежу столетий просветительские идеи находят свое иногда нелепое воплощение во вполне устоявшихся структурах повседневности. «Конституционные» и «позитивистические» способы ползания младенцев — далеко не единственный пример. Подобными примерами изобилуют страницы прозы Андрея Белого. Профессор-интеллектуал чудаковатым и наивным способом пытается распространить свои рационалистические представления на сферу быта, стремясь ликвидировать в нем темные лакуны иррационализма: «Цифрами, формулами начинает выгравировать методы: чистки картофеля или морения тараканов, которые

вдруг завелись»⁴. Однако «рациональные советы» и «точки зрения», переносившиеся университетскими учеными в сферу быта, часто оказывались «только змеем словесным, пускаемым в небо страницей томака». И профессор в семейной жизни часто превращается «в мягкую глину, лепимую пальцами... профессорши по канонам ареопага профессорш»⁵. Детские воспоминания Андрея Белого оказываются во власти впечатлений «от среднеарифметической суммы, которой реальнейше соответствует нечто весомое, твердое, материальное, то есть “быт”». Это впечатление он формулирует довольно определенно: «Среднебытовой человек в нем не человек; он декомпонирован в абстракцию, веющую над челом человека в виде дымка папиросы и после твердеющую в виде клопиного кресла, человеческой подставки, то есть чего-то ниже стоящего»⁶.

Разумеется, «профессорская культура», которую Андрей Белый увидел на рубеже веков именно в повседневно-бытовых проявлениях, вовсе к этим проявлениям не сводилась: «Я вижу профессора, вынесенного за скобки квартиры, это — профессор на кафедре и профессор, научный руководитель (в лаборатории, на семинарии); и этот профессор в среднем выявляет себя бесконечно свободнее, глубже, интереснее, чем у себя на дому и в гостях; пример: Умов, которого я знал в детстве как монумент собственной скуки и которого я увидел с кафедры иным; открывается мне: подлинно ценное в профессоре, как в человеке и как в ученом, в его квартире есть миф, подчас преследуемый бытом... Университет вскрыл неравновесие, уравниваемое бытом: что общего между кипучей фигурой Тимирязева и благодушием Сабанеева, Мензбиром и Зографом? Они встречались, здоровались, жили — все в том же “быте” или в точке пересечения разнородных устремлений, переживаемой косностью неперменного центра»⁷.

Изучая историю социальной мысли в России XIX века, Владимир Кантор предпринимает концептуальное описание

«профессорской культуры», но уже в иной плоскости: не социально-бытовой, а идейно-эстетической⁸. Поставив проблему «профессорской культуры», он определяет ее как «тенденцию в общественно-эстетической мысли». Признавая, что университетское профессорское сообщество не было цельным и монолитным, Кантор в то же время показывает, что в среде «ученого сословия» эволюция русского либерализма выявила направление, отмежевывавшееся от революционной тенденциозности Николая Чернышевского, нравственно-религиозного мировоззрения Федора Достоевского и Льва Толстого, государственного утилитаризма Михаила Каткова и концепции «чистого искусства». «Профессорская культура» в этом смысле предстает как весьма противоречивое явление. С одной стороны, она олицетворяется яркими и известными фигурами, но, с другой, непонимание профессурой народной жизни привело этот слой к самоизоляции. И здесь Кантор ссылается в том числе и на тексты Андрея Белого, в которых якобы отражается кризис и даже распад «профессорской культуры».

Оставим пока без комментариев вопросы о степени понимания или непонимания университетскими интеллектуалами российских реалий, а также о действительных причинах изоляции и фактического распада «профессорской культуры». К ним еще будет возможность вернуться чуть ниже. Пока же следует указать на другой весьма важный аспект. «Профессорская культура» возникает в уникальных исторических условиях. Эти условия появляются не сразу после открытия первых российских университетов, а чуть позже — во второй четверти XIX века, когда «ученое сословие» начинает обретать общее самосознание и внутреннюю солидарность. Именно в этот период возникает классический образ ученого-профессора, основанный на системе ценностей, привнесенных вместе с наукой и пробивающих себе дорогу сквозь самодержавно-полицейские грезы режима Николая I. Спустя всего около столетия после появле-

ния поколения Грановского, которое с некоторыми оговорками можно назвать первым поколением российской профессуры, активная интеграция науки в различные сферы жизни общества приведет к размыванию и фрагментации научного сообщества. Современный исследователь не является уже «монополистом» науки, ее элементы тесно встроены в бизнес, политику, менеджмент, юридическую практику. Поэтому и реальные образы человека науки теперь создаются не на основе противопоставления ценностей (научного этоса) традиционным устоям, а как результат социализации в довольно разнообразных интеллектуальных средах современного общества. Образ исследователя сегодня уже не так противопоставлен образам представителей иных социальных групп, как это было во второй половине XIX века, когда в России возникает неперебиваемое на другие языки слово «интеллигенция». Впрочем, классический образ ученого-профессора сохраняется в нашем сознании в качестве идеального типа и сегодня. Даже несмотря на неизбежные искажения этого образа в периоды скороспелого формирования «красной профессуры», реализации тоталитарной модели идеологизированного образования в сталинском обществе и разложения научного сообщества в постсоветской России.

Именно этот исторический зазор между возникновением «ученого сословия» и его фактическим растворением в разнообразных сферах интеллектуальной жизни, охватывающий примерно одно столетие, становится временем разворачивания «профессорской культуры» не только как тенденции в общественной мысли и политической эстетике, но прежде всего как локальной культуры университетских интеллектуалов XIX — начала XX века. За столетие своего существования «профессорская культура» двигалась по весьма интересной траектории развития. Эта траектория в значительной мере объясняется противоречием между горячей верой в идеалы Просвещения, убежденностью в

необходимости конституционных и либеральных реформ, с одной стороны, и собственной малочисленностью и уязвимостью перед властью и доминирующими в обществе настроениями — с другой.

Одновременная критика профессорского сообщества «почвенниками» и революционно настроенными радикалами вполне объяснима в стране, раздираемой между острой необходимостью реформ и охранительной политикой самодержавия. Любопытно, однако, что на рубеже XIX и XX веков появляется еще одно направление критики «профессорской культуры» — как бы изнутри, со стороны профессорских детей. Одним из примеров такой критики стало «Открытое письмо» Андрея Белого, опубликованное в 1903 году. Автор письма не указал адресата, он вспоминал: «...ошибка юноши заключалась в том, что я не поставил: “Открытое письмо к профессорам-либералам и профессорам-консерваторам”, ибо к ним-то я и обращался». Но, несмотря на это, письмо было понято по адресу: «Максимум ярости оно вызвало именно в профессорском кругу; в других кругах прочли, покачали головой, забыли; а в профессорском кругу обвели красным карандашом, запомнили...»⁹.

Это был не единичный случай протеста профессорских детей против устоев профессорского круга. И Андрей Белый был не единственным профессорским сыном, «сбежавшим» из среды. Многие выходцы из профессорских семей не желали идти по стопам своих родителей. Одним из первых «беглецов» был Владимир Соловьев, сын профессора истории Сергея Соловьева. Он шел, казалось бы, по пути академического ученого, но в итоге занялся религиозной философией, явно выходявшей за рамки университетской традиции. Из профессорского круга вышли и Александр Блок, сын профессора Блока, внук профессора Бекетова и зять профессора Менделеева, и Марина Цветаева, дочь профессора Цветаева, и многие другие. Среди крупных поэтов модернистско-декадентского направления пример-

но треть составляли выходцы из профессорских семей¹⁰. «Не удалась попытка прожить под знаменами позитивизма, либерализма, сими религиозными устоями профессорского бытия; — писал Андрей Белый, — от этих знамен в конце века несло на меня мертвой затхлостью; все действительное бежало от этих знамен: и вправо, и влево; средняя линия однолинейного прогресса по Спенсеру редела: усиливались где-то сбоку от средней лежащие обитатели пессимизма, революционного народничества; спасались даже... в “мистику”, столь осуждавшуюся “нашей средой”, чтобы только остаться вне “нашей среды”»¹¹.

В самом факте такого «бегства» профессорских детей из науки Владимир Кантор видит проявление кризиса «профессорской культуры», которая исчерпала себя всего за несколько десятилетий. Неудачу, по его мнению, потерпел главный замысел университетских интеллектуалов: сформировать просвещенный слой в том виде, как они его понимали. Действительно, если в этот слой не удалось включить собственных детей, которых увлекали поэзия, мистика, религиозная философия, но только не наука, не говорит ли это о провале всего проекта?

Но вряд ли уход детей из профессорской среды свидетельствует о провале. Тем более что многие из них своим творчеством решали ту же задачу, которая стояла и перед их родителями: открыть и удержать в российской культуре пространство личной и гражданской свободы. Эта свобода обретала новую конкретику и новые формы в жизни и творчестве выходцев из профессорской среды, которые распространяли свои идеи далеко за стены университетов. А что касается самого профессорского сообщества, уход детей не разрушил его. Университеты пополнялись молодыми талантливыми людьми, вполне разделявшими просветительские идеи «ученого сословия».

В чем же тогда состоят действительные причины распада «профессорской культуры»? И каковы идейные основы

той критики, которой подвергалось в России «ученое сословие»? Для ответа на эти вопросы необходимо будет несколько расширить идейные и историко-культурные контексты нашего анализа до тех рамок, которые обычно имеются в виду в полемике между традиционалистами и модернистами.

2.

Беспрецедентное развитие наук, столь радикальным образом изменивших современный мир, связывают с особым типом культуры, который вслед за Освальдом Шпенглером часто называют фаустовским. Легенда о Фаусте, отразившая черты новоевропейской культуры, возникает в XVI веке. Эта легенда показывает всю противоречивость процесса познания, который нередко выходит за рамки не только религиозных догм и существующих стереотипов, но и норм традиционной морали.

Любопытно, что изменение отношения к науке в европейской культуре отражает эволюцию легенды о Фаусте. Когда в XVII–XVIII веках наука осознается как сила, способная улучшить жизнь человека, эта легенда почти забывается. Но к началу XIX века образ Фауста снова обретает популярность. И не где-нибудь, а в Германии. Магические черты истории о Фаусте теперь вытесняются романтическими мотивами высших устремлений просвещенного человечества. И в знаменитой трагедии Гёте Фауст обретает спасение своими благородными усилиями в борьбе за благо человечества. А в самом начале XX века в той же Германии Шпенглер делает образ Фауста главным в определении сущности всей европейской культуры.

Камень преткновения в спорах вокруг сюжета о Фаусте состоит в том, что жаждущий проникновения в тайны мироздания Фауст идет на сделку с демонической силой. Наедине с собой гётевский Фауст признается, что его уси-

лия в изучении наук не дают ему главного: он не может постичь «вселенной внутренней связь» и получить ключи к освобождению человека от животного мрака:

Я богословьем овладел,
Над философией корпел,
Юриспруденцию долбил
И медицину изучил.
Однако я при этом всем
Был и остался дураком.
В магистрах, в докторях хожу
И за нос десять лет вожу
Учеников, как буквоед,
Толкуя так и сяк предмет.
Но знания это дать не может...¹²

Силу, способную преобразовать мир, знаниям Фауста придает сделка с Мефистофелем. Именно из демонических соблазнов, как и сегодня неустанно доказывают антимодернисты, происходит история взлетов и катастроф техногенной цивилизации. За соблазном любопытства и жадности знания на пути у Фауста, так же как и на пути техногенной цивилизации, следуют другие соблазны: власть и богатство, удовольствие и наслаждение. И наука, если она следует за такими соблазнами, подобно Фаусту, будет встречать на своем пути только признаки увядания и смерти. Если сделка Фауста является средством достижения его пусть и благородных целей, то отсюда можно вывести весьма опасное следствие: любые средства будут оправданы, когда цель того стоит. И последствия этой неразборчивости в средствах хорошо видны в современной культуре, где ученый-изобретатель часто предстает в образе полусумасшедшего маньяка, одержимого идеей, способной уничтожить хрупкий мир — то ли по неосторожности, то ли вполне осознанно. «Еще шаг — и мы видим, как наука служит удушению зачатков жизни», — пишет Йохан Хейзинга¹³. И дело даже не в том, что наука открыла колоссальные возможности

производства средств уничтожения человека. Грубое вмешательство в основы природы ведет сегодня к опасной трансформации не только естественной гармонии, но и самого человека.

Если наука и техника рождают такие угрозы, не означает ли это, что и образование является разрушительным? Один из основоположников российского консерватизма Константин Леонтьев активно выступал «против *поспешного* и тем более против *обязательного* обучения». Если образование, не дозревшее до осознания уникальности русского пути, «примется менять некстати самые корни эти, то уже тогда “бесцветная вода” всемирного сознания будет поливать не национальные всходы, а космополитические». Поэтому развитие наук и образования, по мнению Леонтьева, следовало бы отложить до тех пор, пока «образованная часть русского народа» не освободится от иллюзий западничества и не дорастет «до полного русизма». Только тогда можно будет избежать вызванного прогрессом морального разложения. Речь у Леонтьева идет о необходимости выращивания национального своеобразия, ради которого можно повременить и с «общей нравственностью», и с «общей наукой». Почему повременить? «А потому, что общая нравственность и общая наука не уйдут от нас; а национальное своеобразие легко может уйти от славян в XIX веке», — отвечает Леонтьев¹⁴.

Но не получилось ли наоборот? В русской революции и последовавшей затем большевистской диктатуре национального своеобразия было немало, а вот «общей нравственности» и «общей науки» явно не хватало.

Критика просветительского проекта вообще и «профессорской культуры» в частности в России была весьма серьезна. Традиционалисты утверждали, что под влиянием фаустовской культуры и в погоне за отвлеченными схемами интеллектуальное сообщество оторвалось от народной «почвы» и утратило само понимание цельности жизни, ее

глубинной сакральной тайны. В результате своей деятельности «ученое сословие» якобы порождает циничных нигилистов, которые и уничтожат Россию в кровавом бунте. Именно эти обвинения читаются на страницах романа Федора Достоевского «Бесы». Достоевский воссоздал образ российского профессора в лице Степана Трофимовича Верховенского, в котором угадываются черты Тимофея Грановского, начиная от сферы научных интересов и заканчивая его пристрастием к игре в карты. И писатель связывает прямыми родственными узами Степана Трофимовича с Верховенским-младшим — одним из тех самых «бесов». Достоевский, стоявший на позициях «почвенничества», считал, что автономный профессорский мир далек от реальной народной жизни и утратил связь с «почвой», а потому их деятельность не может быть плодотворной. Сохранилась следующая запись Федора Достоевского: «Кавелину... Чрезмерная ученость не всегда есть тоже истинная ученость. Истинная ученость не только не враждебна жизни, но, в конце концов, всегда сходится с жизнью и даже указывает и дает в ней новые откровения...» И далее Константину Кавелину адресуется весьма жесткий упрек: «Живая жизнь от вас улетела, остались одни формулы и категории, а вы этому как будто и рады»¹⁵. В «Бесах» Достоевский нарисовал Верховенского-старшего как человека возвышенного, благородного, но не определившегося в главном («всежизненная беспредметность и нетвердость во взглядах и чувствах»). Писатель иронично характеризует те высокие цели, которые проповедует Степан Трофимович: «много музыки, испанские мотивы, мечты всечеловеческого обновления, идея вечной красоты, Сикстинская мадонна, свет с прорезями тьмы» — благородные, но невнятные идеалы, порожденные отвлеченными реминисценциями фаустовской культуры. Преклонение перед достижениями науки и искусства сочетается у Верховенского-старшего с непони-

манием России, которая, по его словам, «есть слишком великое недоразумение, чтобы нам его разрешить без немцев и труда».

Любопытно, что подобные черты имеет и чеховский персонаж — профессор Николай Степанович из «Скудной истории». Чехов вовсе не был настроен столь же консервативно, как Достоевский. Но в его образе профессора передается та же приписываемая российским интеллектуалам невнятность. В мировоззрении Николая Степановича чувствуется отсутствие внутреннего стержня. Знакомый со многими знаменитыми учеными, профессор всех русских и трех заграничных университетов на закате своей жизни говорит: «И сколько бы я ни думал и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке, в моем желании жить... и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или Богом живого человека. А коли нет этого, то, значит, нет и ничего. При такой бедности достаточно было серьезного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы все то, что я прежде считал своим мировоззрением и в чем видел смысл и радость своей жизни, перевернулось вверх дном и разлетелось в клочья»¹⁶.

Это и есть следствия порочной сделки Фауста: разрушение сакральной целостности жизни. И до сих пор в отечественной публицистике можно встретить мысль о губительности фаустовской культуры вообще и в частности науки, разрушающей народное своеобразие и чистоту природной жизни. Сегодня экспрессия подобных рассуждений обрета-

ет новую силу, как это было в России каждый раз в периоды контрреформ, когда власть в союзе с консервативной частью церковного клира под разговоры о высших смыслах стремилась усмирить гражданскую активность и избежать назревших перемен. Поэтому весьма полезным было бы не только разобраться в обоснованности подобной критики, но и углубиться в духовно-нравственные и политические контексты сделки Фауста, придавшей развитию наук силу, вызвавшую радикальные общественные преобразования.

В легенде о Фаусте далеко не все так однозначно, как это часто представляют антимодернисты. Так же, как и в судьбе всей фаустовской культуры. Неслучайно Гёте начинает свой рассказ о Фаусте с пролога на небесах. Обращаясь к Создателю, Мефистофель говорит о двойственности человека, который вынужден жить во мраке, будучи озаренным светом разума:

Он лучше б жил чуть-чуть, не озари
Его ты Божьей искрой изнутри.
Он эту искру разумом зовет
И с этой искрой скот скотом живет.
Прошу простить, но по своим приемам
Он кажется каким-то насекомым.
Полулетя, полускача, он свиристит, как саранча.
О, если б он сидел в траве покоса
И во все дрязги не совал бы носа!¹⁷

Человек мог бы беспроблемно жить в природной идиллии только в том случае, если бы он не был человеком. С того доисторического момента, когда человек вышел за пределы своей природной ниши, разум всегда заставляет его преодолевать первоначальное естественное положение. И у Гёте сделка Фауста санкционирована самим божественным замыслом. Неизбежные блуждания человека в процессе познания, его провалы и опасные ошибки, чреватые угрозой основам мироздания, — это следствие вовсе не сделки

Фауста, они предопределены природой человека, погруженного в материю, но содержащего в себе духовные силы, способные преобразить мир.

Ошибка критиков фаустовской культуры состоит в их наивной вере в возможность сохранить и даже восстановить изначальную гармонию и чистоту естественной жизни человека в согласии с природой, как только будут устранены соблазны цивилизации. Притягательная сила этих идиллических образов оформляется в мечты о «золотом веке», который был на заре человечества до его изгнания из Эдема, и который еще якобы можно вернуть, о чем неустанно повторяют авторы всех без исключения утопий. Тщетность надежд на освобождение от прогресса и возвращение к естественной жизни прекрасно понимал еще автор «Недоросля» Денис Фонвизин. Вслед за Руссо, видевшим истоки всех пороков в цивилизации, он писал: «...и я согласен в рассуждении того, что по истории видно, что до коих пор народы были простее, то до тех пор были они добродетельнее и потому благополучнее, и думаю, что неблагополучие человеческого рода произошло от вкушения запретного плода, т.е. от явственного познания, что есть добро и что худо». Но тут же Фонвизин указывает на ограниченность этой позиции: «Следовать сему мнению тогда было хорошо, когда еще весь род человеческий был в натуральной простоте, а в нынешнем состоянии ученого света, нежели б какой народ вздумал не учиться, то другие ученые народы в краткое время и с великим аппетитом его скушают; и тогда-то уж он от сих просвещенных волков безумно убежден будет о вредности своей простоты в нынешние мудреные и развращенные времена»¹⁸.

В рассуждениях Фонвизина интересен даже не его аргумент о роли знания в развитии и конкуренции между народами. Важнее другое: неблагополучие человека и разрушение его природной жизни Фонвизин связывает не с началом века Просвещения, а с «вкушением запретного

плода» — с библейским грехопадением, определившим изначальные условия жизни человека. И это весьма важная деталь. Если проблема в самой природе человека, то отказ от модернизма и возвращение к «почве» не способно разрешить противоречия как техногенной цивилизации, так и исторической судьбы России. Человек всегда заключен в пространство напряженной борьбы между добром и злом, светом и тьмой, жизнью и смертью. Это внутреннее противоречие, разрешение которого, безусловно, требует серьезных душевных усилий, отечественные традиционалисты с поразительной легкостью переносят во внешнее: любое зло объявляется ими иноземным и инокультурным.

В этом контексте образ Фауста, воплотившего фундаментальный дуализм человека, обретает совершенно иные смыслы. По словам Германа Гессе, путь Фауста отражает «борьбу всей человеческой души за Свободу, Свет, Спасение» против духовных притеснителей, запретов и границ познания¹⁹. Развитие наук само становится фактором духовного воспитания. И поэтому гётевский Фауст — это уже не тот старый Фауст, который известен из ранних немецких легенд. Тот был магом и алхимиком, желавшим в одиночестве обладать сокровенным знанием и предписывавшим темным силам исполнять свои прихоти. Новый Фауст — это продукт века Просвещения. Он служит обществу и своими усилиями обретает не только свободу, но и спасение. Так же и наука является ареной борьбы между силами созидания и разрушения. И именно поэтому развитие наук требует полноценных демократических преобразований, которые защитили бы общество от самых опасных последствий научно-технического прогресса.

Трагедия Фауста отражает драму культуры, освобождающейся от традиционного состояния и открывающей для себя современность. Фауст начинает с протеста против тра-

диционной морали, он переживает разочарование в науках и разуме, предается необузданным чувствам и соблазнам, которые открывает перед ним Мефистофель. Но Фауст ищет путь к спасению. Он созидает и разрушает, находит и бросает. И итогом его исканий является вера в необходимость соединения разума и науки с нравственным миропорядком и идеей служения обществу. Именно усилия человека в его стремлениях к освобождению от всего, что сковывает духовную свободу, оказывается в трагедии Гёте залогом спасения:

Лишь тот, кем бой за жизнь изведен,
Жизнь и свободу заслужил.
Так именно, вседневно, ежегодно,
Трудясь, борясь, опасностью шутя,
Пускай живут муж, старец и дитя.
Народ свободный на земле свободной
Увидеть я б хотел в такие дни.
Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье!
О как прекрасно ты, повремени!
Воплощены следы моих борений,
И не сотрутся никогда они»²⁰.

И не о том ли говорил Кант, когда рассуждал о практическом разуме, который из сферы чистого познания переходит в сферу нравственного строительства свободной земли, на которой может стоять свободный народ. Свобода личности обретается в творчестве, где наивысший подъем личностного начала означает отречение от собственного эгоизма и преодоление самого себя. Эта эволюция движима стремлением к преобразению мира, которому служит наука, если она соединена с высшими ценностями.

Но соединение науки и морали — вопрос, скорее, общественного и политического устройства. В одних социально-политических условиях наука будет служить спасению жизни, а в других — завоеванию власти и подавлению свободы мысли. И если власть в целях самовоспроизводства

озабочена развитием наук, но при этом ограничивает гражданские свободы, она своими руками создает весьма опасные прецеденты.

Неслучайно переосмысление судьбы Фауста в трагедии Гёте так созвучно идеям немецкой классической философии. Именно в этих контекстах рождается гумбольдтовский идеал университета как пространства свободы для воспитания свободных граждан. И именно этот идеал проникает в Россию вместе с поколением Грановского — тем поколением русских профессоров, которым после возвращения в Россию предстояло бороться за воплощение своих надежд у себя на родине. Их усилия были направлены не только на отстаивание собственной автономии, но прежде всего на создание образованного слоя, способного брать на себя ответственность за свою жизнь и за жизнь общества.

Весьма показательным событием, повлиявшим на самоопределение «профессорской культуры», стала полемика между Федором Достоевским и Константином Кавелиным. В ответ на «пушкинскую» речь писателя Кавелин в 1880 году опубликовал «Письмо Ф.М. Достоевскому», в котором противопоставил иррациональному традиционализму ценность конкретного знания. Ощущение приближающейся народной бури, характерное для Достоевского, воспринималось Кавелиным как проявление непросвещенного характера русского народа. Основная часть российской профессуры действительно расходилась с «почвенниками» по целому ряду принципиальных вопросов. Но не было ли стремление Кавелина и его единомышленников возделывать ту самую «почву», выращивая образованный слой, свидетельством такого же предчувствия будущих потрясений? Именно этот слой должен был не только стать основой свободного развития, но прежде всего уберечь страну от грядущей катастрофы.

Не успели.

3.

Начало XX века вряд ли можно назвать кризисным для «профессорской культуры». А распад ее связан не с внутренними противоречиями и признаками косности быта, которые, разумеется, были, и не с критикой извне, которая в некоторой части была справедливой. И то, и другое — нормальные явления для любого заметного сообщества. Причины распада «профессорской культуры» как целостного явления следует искать в катастрофических событиях, последовавших после 1917 года...

Почетный академик, сенатор, действительный тайный советник, член Государственного совета, кавалер многих орденов, лишившийся после революции всех почетных титулов и привилегий, Анатолий Федорович Кони, как и многие другие российские профессора, не изменил своим просветительским идеалам. По словам Корнея Чуковского, «семидесятипятилетний старик, сгорбленный дугою, с большими ногами, он взял свои костыльки и пошел,ковыляя, по улицам в самые дальние концы Петрограда — читать лекции красноармейцам, курсантам, рабочим в нетопленных, промозглых помещениях, которые носили громкое название клубов»²¹. Многие университетские профессора после победы большевиков предпочитали делать свое дело так, как они считали нужным. Однако их представления часто расходились с требованиями декретов новой власти. Один из уполномоченных большевиками руководить наукой историк Михаил Покровский писал в октябре 1922 года: «... саботаж советских декретов держится чрезвычайно упорно и до сих пор. Профессора — большие формалисты и проявляют в этом такую виртуозность, что, даже саботируя, опираются... на советские декреты»²².

Некоторые профессора в своей борьбе с большевистской властью шли на более радикальные меры. Осенью 1919 года в Петрограде даже было организовано «прави-

тельство» во главе с профессором технологического института Александром Быковым. В августе следующего года профессора Владимир Устинов, Николай Кольцов, Сергей Котляревский и другие предстанут перед революционным трибуналом, обвинявшим их в создании «тактического центра» по свержению советской власти²³. И подобных примеров немало.

Не все профессора остались в России. Часть из них эмигрировала, а часть была выслана насильственно. Примерно пятьсот ученых оказались в числе нескольких миллионов эмигрантов первой волны²⁴. Многие рассматривали свою эмиграцию как временную и видели своей целью продолжение дела развития русской науки и подготовку кадров для будущей свободной России. В эмиграции они создавали русские научные общества и академические группы, открывали русские высшие учебные заведения, история которых, за редким исключением, была недолговечной²⁵. Русский социолог Питирим Сорокин стал ключевой фигурой в американской социологии. Мировую известность получили имена Игоря Сикорского, создавшего вертолет, изобретателя телеприемника Владимира Зворыкина, нобелевских лауреатов экономиста Василия Леонтьева и физика Ильи Пригожина.

Из оставшихся в России многие были уничтожены в годы сталинских репрессий. «Весь цивилизованный мир был удивлен участвовавшими в 1930 и 1931 г. арестами специалистов-ученых с мировыми именами, — писал эмигрировавший из России Павел Милюков. — И не менее глубокое нравственное возмущение вызвал тот невероятный рабий язык, которым вынуждены были заговорить на публичных съездах другие ученые»²⁶.

Университеты будут лишены автономии и подчинены диктату новой идеологии. Радикальным образом профессорский корпус изменится в связи с программой подготовки новых кадров на ускоренных курсах «красной профессуры».

В 1919 году будут отменены ученые степени, и в сжатые сроки специально отобранные представители партийной молодежи будут осваивать науки и получают профессорские звания. Многими из «красных профессоров» основные положения марксизма-ленинизма будут восприниматься в контексте жесткого противопоставления «прогрессивной» пролетарской науки непролетарской, «регрессивной»²⁷. На волне революции возникнут весьма экстравагантные даже для большевистской среды идеи. Например, Эммануил Енчмен, издавший в 1920 году книгу «Восемнадцать тезисов о «теории новой биологии», договорится до того, что «вслед за низвержением эксплуататорских классов начинается массовый процесс отмирания разума». Любое мировоззрение — по Енчмену — это «эксплуататорская выдумка», поэтому науки и мировоззренческие идеи должны быть повержены в прах, а научную интеллигенцию следует объявить «идеологически низшей расой»²⁸.

Трагедия профессуры в послереволюционные годы отражена в литературе 1920-х годов. Созданные Михаилом Булгаковым образы профессора Персикова («Роковые яйца») и профессора Преображенского («Собачье сердце») показывают судьбу ученого, столкнувшегося с катастрофическими последствиями своих же идей. Об этих последствиях предупреждал несколькими десятилетиями ранее Федор Достоевский. Шариков — отвратительный герой большевистской России — оказывается в известной степени порождением профессора Преображенского. Но если булгаковскому профессору удалось в конечном итоге избавить общество от этого неприятного типа, то в реальной жизни исправлять подобные ошибки неизмеримо сложнее.

Провал либеральной профессуры, стоявшей у истоков российского парламентаризма и не сумевшей удержать страну от кровавого хаоса революции и гражданской войны, оборачивается гибелью самой «профессорской культуры». Интеллектуалы, составлявшие основу кадетской

партии, с горечью будут наблюдать за многочисленными ошибками своих же коллег, ставших министрами быстро меняющихся временных правительств.

Возможно, те же чувства горечи и разочарования через полтора десятилетия после русской революции испытывал в Испании и ректор Саламанского университета Мигель де Унамуно, когда увидел воплощение своих идеалов в республике, установленной в 1931 году. После победы республиканцев в крупных городах Испании и бегства короля Альфонса XIII честь провозгласить республику в Саламанке была предоставлена именно ему, известному ученому и писателю, духовному лидеру «поколения 98 года» — поколения, родившегося из переосмысления бесславного поражения Испании, в одночасье потерявшей свои американские колонии в войне 1898 года. Профессор Унамуно, до февраля 1930 года находившийся в вынужденной эмиграции, страстно боролся с режимом Примо де Ривера и королем, поддерживавшим диктатора. И вот, казалось бы, цель достигнута. В стране устанавливается республика, которую назовут «республикой интеллектуалов». Но жестокая борьба правых и левых, обернувшаяся огромными жертвами и репрессиями, всего за несколько лет приведет республику к гибели. Никакие воззвания интеллектуалов к новому правительству и его противникам с призывом остановить кровопролитие не помогут. И уже в 1936 году к власти приходит генерал Франко, который на несколько десятилетий заставит испанцев забыть об идеалах свободы. Смещенный с должности ректора Мигель де Унамуно умирает в том же году.

Неужели пробуждению темных сил, дремлющих в непросвещенном обществе, способствуют усилия интеллектуалов, стремящихся к воплощению идеалов Просвещения? И тогда правы консерваторы: надо заморозить все, что еще не заморожено, и избегать любых перемен, способных разбудить силы разрушения. Но где гарантия, что,

когда все живое будет заморожено, те самые силы не разобьют лед и не окажутся на поверхности? Ведь именно так и произошло в России. И разве многочисленные шариковы были вызваны к жизни опытами профессора Преображенского? Разве не были выращены они в темной толще той самой «почвы», тщательно охраняемой реакционерами всех мастей от света знания, который, как говорил еще Сократ, только и делает человека добродетельным.

Так бывает всегда: в непросвещенном обществе мечты о свободе оборачиваются многочисленными трагедиями. Но означает ли это, что необходимо отказаться от идеалов, которые человечество несет через столетия, и уподобиться чеховскому «человеку в футляре»? Испанский профессор Мигель де Унамуно дает свой ответ в одной из лучших книг, посвященных Дон Кихоту. Его Дон Кихот отличается от сервантесовского. Сервантес иронизирует над своим героем, а Унамуно настолько страстно его защищает, что практически сливается с ним. Движимый верой в свои идеалы и не обращающий внимания на насмешки, Дон Кихот обретает себя только тогда, когда рядом с ним оказывается Санчо Пансо — воплощение всего непросвещенного человечества, которое, пусть не сразу, но начинает воспринимать высокие идеалы и отказывается от мелочности и корысти. Дон Кихот говорит всегда и со всеми на языке, достойном своих идеалов. Он не соотносит свои речи с уровнем слушателей. И часто остается непонятым ими. Но он верит: «доброе семя упадет им в закоулки сознания, хотя сами они того и не заметят»²⁹.

Да, совершая свои безрассудные подвиги, Дон Кихот достигает порой результатов, противоположных тем, к которым стремится. Но причина этих поражений в вечной противоположности идеала и реальности. И что еще остается человеку в безнадежной ситуации, кроме как совершать поступки и прилагать усилия, сохраняя верность себе и

своим идеалам, подобно печальному рыцарю веры? И пусть, подобно ему, на пороге смерти придется признать, что жизнь была «только безумным сном»³⁰.

И не о таком ли последнем разочаровании говорил профессор русской истории Василий Ключевский спустя полвека после смерти Грановского: «...можно еще представить себе скорбный облик, с каким он ушел из жизни... можно представить его в сонме таких же обликов, таких же теней гнева и скорби: Кавелин, думавший, что с освобождением крестьян все в России изменится к лучшему, С.М. Соловьев, веривший, что восстающий от времени до времени русский богатырь вынесет Россию на своих плечах, Чичерин, в 1860-х годах предпочитавший “честное самодержавие несостоятельному представительству”, а 30 лет спустя принужденный печатать за границей свои последние и заветные мысли, и много, много других, менее видных людей. Все это были люди меры и порядка, надеявшиеся на улучшение действительности, и все они были обмануты в своих надеждах». Но вывод Ключевского вполне очевиден: в годы нравственного колебания и общественного уныния необходимо вещать правду и свободу, отстаивать свои идеалы твердо и прямо; подобно Грановскому, оставаться «рыцарем, как его называли, благороднейшим крестоносцем, шедшим беззаветно к своей обетованной цели, без надежды на победу, но и без страха перед поражением»³¹.

Что же касается «родственных связей» между профессорами-либералами и революционерами-радикалами, то надуманность этих связей окажется очевидной, как только мы увидим, с каким остервенением набросятся большевики на университетскую профессию. Сам факт одновременных нападков на «ученое сословие» со стороны консерваторов, ставших в конечном итоге на защиту дряхлеющего самодержавия, и со стороны радикально настроенных революционеров, одержавших разрушительную победу, говорит о многом. Когда подвергаешься ударам с обеих сторон, можно

быть уверенным, что идешь по срединному пути — пути неочевидному, но достойному.

«Отправляйся же в путь. Один. Все остальные одиночки пойдут рядом с тобой, хотя ты не будешь их видеть. Каждый будет считать, что идет один, но все вместе вы образуете священный отряд, отряд святого и бесконечного крестового похода». Этими словами испанский профессор Унамуно обращался к своему воображаемому собеседнику в начале своей книги о Дон Кихоте³². Надежда и разочарование, одиночество и сомнения неизбежно сопровождают тех, кто движем жадной бесконечного знания и истины, вечно ускользающей от человеческого разума.

* * *

«Профессорская культура», просуществовавшая в России как целостное явление около ста лет, представляет собой результат реализации одной из весьма интересных и драматичных линий развития европейского Просвещения в условиях сословного общества и политического режима, избегавшего последовательных и полноценных демократических реформ. Само появление «профессорской культуры» возможно было лишь в тот исторический период, когда «ученое сословие» уже оформилось и обрело самосознание, но оставалось еще слабо интегрированным в социальную структуру и производственную сферу. Осуществление социальной роли профессора в тех условиях было сопряжено с преодолением достаточно серьезной личностной дистанции между научной рациональностью и структурами поведения, господствовавшими в повседневной жизни. Поэтому необходимость признания университетского сообщества требовала воплощения его ценностей в некие авторитетные образцы, которые обеспечивали бы университетским интеллектуалам личностную идентификацию и интеграцию с себе подобными. Идеальный образ ученого-

профессора возникает именно тогда и сохраняется в наших представлениях до сих пор, хотя сама «профессорская культура» со второй четверти XX века превращается скорее в фантомное явление.

Историческая роль «профессорской культуры» состоит в соединении развития наук с гражданской активностью, направленной на создание в России образованного слоя, способного стать основой развитого гражданского общества и устойчивого демократического развития. Реализация этого проекта, прерывавшегося как консервативными откатами, так и революционными бурями, не может считаться завершенной и сегодня. Поэтому духовно-нравственные и цивилизационно-культурные контексты развития «профессорской культуры» и ее критики выглядят вполне актуальными и в современной России, где общественная мысль бьется у тех же развилок, перед которыми она останавливалась в XIX и начале XX столетия.

Быть интеллектуалом в России (вместо послесловия)

Место и роль науки и научного сообщества всегда определяется взаимодействиями между этосом науки и доминирующими в том или ином обществе смыслами, ценностными ориентациями и институтами. История научного сообщества в России показывает всю сложность и неоднозначность положения интеллектуала в обществе, стремящемся к технологической модернизации, но избегающем модернизации политической и культурной. И если интересы власти способствовали в свое время появлению университетов и своеобразного «ученого сословия», то эти же интересы привели и к появлению неких особых модальностей, в которых оказалось в России современное научное сообщество.

1.

Несколько лет назад был издан трактат Йозефа Ратцингера (понтифика Бенедикта XVI) о сущности и задачах богословия в диспуте современности. Удивительно, что целый раздел первой части этого текста посвящен проблеме академической свободы: «Понятие академической свободы стремится оградить себя от всеобъемлющей силы бюрократии, от давления диктатуры потребностей. Борьба, которая здесь ведется, разнообразна. Речь идет о защите “ненужных” специальностей — так называемых гуманитар-

ных наук — от превосходства практически необходимого. Однако и естественные науки борются за свободу самим определять свой предмет, а не получать его в виде предписания рыночных потребностей»¹. Несколько ранее появилась еще одна книга Бенедикта XVI о диалектике секуляризации, написанная в соавторстве с Юргеном Хабермасом, одним из авторитетнейших европейских интеллектуалов. Что заставляет главу римской католической церкви рассматривать сущность и задачи современного богословия в контексте проблемы диалога, отстаивая при этом свободу светской социально-гуманитарной мысли и естественных наук от диктата власти и денег? Почему размышления о роли религии в современном обществе привели Бенедикта XVI к необходимости вступления в равный и открытый диалог с университетским сообществом? Этому видится только одно объяснение: академическая свобода, пусть и покрытая сегодня «пылью веков», представляет собой фундаментальную основу поиска истины. Без нее оказывается невозможным определить *«свободное пространство духа»*, подчиненное исключительно внутренним законам мышления. И в появлении этих книг понтифика нет ничего удивительного: интеллектуальное сообщество на Западе всегда имело весьма влиятельных союзников и умудрялось при этом сохранять свою неангажированность.

Вряд ли то же самое можно сказать о российских интеллектуалах. Их положение всегда было двойственным. С одной стороны, научное сообщество в России рождается из той же традиции, что и в Европе. И ценность свободы мышления для него является такой же необходимостью. Но с другой стороны, основания академической свободы в несвободном обществе не могут быть прочными. Университеты в России находили умных и влиятельных покровителей, но надежных союзников у них практически не было.

Противопоставление «западной учености» и «русской духовности» — тема, вошедшая в российский публичный

дискурс еще во времена Федора Достоевского и Константина Леонтьева (если не раньше). Как замечал Владимир Вернадский, православное духовенство не имело укоренившегося представления о ценности науки, в отличие «от духовенства католического или протестантского, среди которого никогда не иссякала естественнонаучная творческая мысль»². В советском обществе противопоставление «западной учености» и «русской духовности» было дополнено ленинским принципом о раздвоении науки на науку буржуазную, эксплуататорскую и науку подлинную, пролетарскую. В советской философии науки господствовал принцип, согласно которому знание, рождающееся в специальных научных областях (таких как физика, медицина, география, биология и тем более социология), — это знание частное, не создающее самостоятельной картины мира, а обретающее общественную легитимность только путем соединения его с «высшим знанием» — общими представлениями и законами, открытыми «диалектическим и историческим материализмом». Только в этом случае научное знание становилось не просто «надежным» и «достоверным», но и разрешенным. Эти новые «коммунистические идеалы» оказались своеобразными наследниками той самой иррациональной «русской духовности», противопоставлявшейся «западному рационализму» и считавшейся источником особого русского мессианства, призванного если не преобразить весь мир, то хотя бы сохранить в нем заповедный «островок» среди бурь и катаклизмов «расколдованного» мира, порожденного фаустовской культурой.

Наиболее болезненно эти противопоставления отражались на социально-гуманитарном знании, которое выхолащивалось в угоду новой коммунистической догматике — своду закрытых для критики принципов, определявших парадигмальные основы наук. Схоластика советской версии марксизма-ленинизма сковывала творческую мысль прежде всего в науках об обществе и человеке. Ритуализм и абстракт-

ная умозрительность препятствовали здесь утверждению подлинного духа научности. И сегодня общее состояние этих отраслей знания в России выглядит плачевно. Разумеется, и в советский период, и сегодня существовали и существуют отдельные сообщества интеллектуалов, стремящиеся к развитию социально-гуманитарных наук. И можно назвать достаточно много имен советских и российских философов, социологов, филологов, историков, известность которых имеет мировые масштабы. Но часто их деятельность ведется не благодаря, а вопреки господствующему дискурсу.

После распада структур идеологизированного «высшего знания», в начале второго десятилетия XXI века на его роль претендует некий новый этос, активно конструируемый консервативной частью политической элиты и церковного клира. Сегодня российский клерикализм, успешно использующий воспитанные десятилетиями советской пропаганды антизападнические настроения, вступает в прямое противостояние с научным этосом, который определяется как продукт западной культуры, породивший фаустовский разрыв между человеком и мирозданием. Утверждение научного этоса с его универсализацией автономии личности и самоутверждением разума объявляется свидетельством глубочайшего раскола в самой природе человека, приведшего к разрушению смысла бытия и распаду целостности мира. Часто можно услышать, что технократизм и механицизм современной культуры несут в себе зерно самоуничтожения человеческой цивилизации, а западный комплекс социальных наук привязан к интересам экспансии Запада, стремящегося подорвать самобытные основы иных культур и цивилизаций.

Подобные рассуждения иногда получают весьма притягательный пафос и незаурядную экспрессию. Но они являются отражением фундаментальной черты обществ, в которых незавершенная и однобокая модернизация не привела к отделению науки от религии, религии от политики, а

политики от экономики. Именно эта неразделенность, парализующая рост демократии, и блокирует не только социальное и экономическое развитие, но и создание механизмов, способных минимизировать неблагоприятные, а иногда и опасные последствия научно-технического прогресса.

Более того, подобные рассуждения часто уводят далеко от сути проблемы, поскольку изначально строятся на ложном тезисе: все болезни в якобы гармоничную российскую жизнь приходят извне, и если ее оградить от дурного влияния, то и проблемы разрешатся сами собой. Разумеется, фаустовское начало европейской научной рациональности содержит в себе ростки не только технологического прогресса, но и тяжелых духовных и социальных деформаций. Неслучайно в современной массовой культуре (и западной в том числе) образ ученого часто обретает черты одержимого маньяка, чьи изобретения вольно или невольно ведут к непоправимым катастрофам. Однако европейская культура демонстрирует способность справляться со своими болезнями и минимизировать угрозы развития. Весьма конструктивный и плодотворный диалог между религией и наукой, расширение принципов гуманизма, растущий интерес к восстановлению экологической гармонии и самоограничение потребительских appetитов — это реальность современного европейского образа мысли. И если в российской культуре возникают существенные духовные и социальные проблемы, порожденные неорганичной модернизацией и стихийным постмодерном, то для осмысления этих проблем необходимо четкое понимание их внутренних причин.

В каждом обществе система знания обуславливается спецификой культуры, социальной структуры и политического режима. Научная мысль может быть направлена, например, на радикальное улучшение качества жизни инвалидов и других социально уязвимых групп, на борьбу с

голодом и болезнями. Или на обеспечение конкурентоспособности высокотехнологичных продуктов. Или на создание оружия массового поражения и гонку вооружения. Очевидно, что полезность или опасность науки будет иметь разные проявления в зависимости от типа экономики, конфигурации общественных и политических сил. И чем более дифференцированы будут эти силы, тем больше шансов на многообразие научного творчества.

Наука сама по себе не является порождением только лишь западной культуры. Основания науки возникают и в восточных обществах. Российская наука также опирается на свои традиции, уходящие в глубь столетий. Однако именно в западных обществах, начиная с XVI–XVII веков, наука привела к бурному социально-экономическому и политическому развитию. Причина проста. Она состоит именно в степени дифференциации высших смыслов и общественных сил. Эта дифференциация порождала разномыслие, приведшее в начале XIX века к возрождению университетов как очагов не только научно-интеллектуальной, но прежде всего гражданской жизни. Именно в таком виде застали европейские университеты молодые российские интеллектуалы, которым предстояло создать университетское «ученое сословие».

2.

Дореволюционное интеллектуальное сообщество российских университетов — уникальное культурное явление в истории образованного слоя. Во-первых, оно было немногочисленным и слабо интегрированным в другие сферы общества, а потому более сплоченным и более четко сориентированным на универсальный этос науки. А во-вторых, власть еще не научилась так откровенно использовать в своих целях одни достижения науки, создавая закрытые наукограды и режимные объекты, и уничтожать другие,

подвергая репрессиям лучших и потому наиболее уязвимых интеллектуалов. Именно в тот период, несмотря на все хитросплетения борьбы за университетскую автономию, в стенах немногочисленных университетов удалось создать своеобразные очаги свободного мышления.

В послереволюционное время научное сообщество стало более разнородным и менее единым. В университете уживались традиционные и новые типы человека науки. В некоторой степени такое разнообразие объясняется и общей тенденцией дифференциации научной инфраструктуры. Университеты перестали быть единственными центрами науки, а сама наука все более тесно интегрировалась в другие сферы жизни общества. Но главное, общественно-политический пафос научного сообщества был радикально изменен. Ни о каком либерализме в условиях господства марксизма-ленинизма не могло быть и речи.

Размывание университетского образования и деформация научного этоса под влиянием идеологического давления власти привели к серьезным трансформациям интеллектуального слоя. Анализ этих трансформаций посвятил свою статью, появившуюся в январе 1974 года, Александр Солженицын. Название этой статьи дало имя новому явлению, пришедшему на смену исчезающей интеллигенции: «образованщина»³. Солженицын показал принципиальные трансформации, произошедшие с советской интеллигенцией в XX веке. Если для дореволюционных интеллектуалов была характерна «кружковая искусственная выделенность», то в советский период произошло сращивание устремлений интеллигенции с властными интересами, а «любовь к уравниательной справедливости, к общественному добру, к народному материальному благу парализовала... любовь и интерес к истине». Свойственные дореволюционным интеллектуалам поиски целостного мировоззрения и стремление подчинить свою жизнь общественному служению, науке, вере в истину, соединенное с социальным

покаянием, по оценке писателя-диссидента, обернулись в среде советской интеллигенции усталым цинизмом и чуть ли не противоположными установками.

Разумеется, всякий социальный слой, живущий в условиях идеологической лжи, переживает серьезные деформации. Но максимальным деформациям подверглась интеллигенция. Именно она лучше других видела эту ложь, высмеивала ее в узком кругу, но тут же цинично укрепляла и развивала ее в гневных письмах осуждения своих коллег, рискнувших выступить открыто. Итог этой деформации Александр Солженицын определяет однозначно: «Так — произошло, и с историей уже не поспоришь: согнали нас в образованщину, утопили в ней (но и мы дали себя согнать, утопить)». Последствия трансформации советского интеллектуального слоя со всей очевидностью проявились сегодня, спустя почти сорок лет после этих слов изгнанного из страны писателя.

Критика Солженицыным интеллигенции, принципиально отличается от полемики Федора Достоевского с университетскими профессорами-либералами в лице Константина Кавелина — и по содержанию, и по пафосу, и по культурным контекстам. Другое время, другая страна и другой образованный слой. Но традиции дореволюционной «профессорской культуры» в той или иной степени сохранялись и в послереволюционное время. Просветительские интенции сообщества ученых были продолжены в 1960–1970-е годы той частью интеллигенции, которая в условиях советского общества не довольствовалась лишь «кухонной культурой» — культурой свободных дискуссий в узком кругу на тему о том, как переделать мир. Рамки этих «кухонных» дискуссий расширялись, возникали мощные очаги свободного мышления, выходящего за официально дозволенные темы. Такими очагами в Советском Союзе становились целые кафедры и даже институты, среди которых университет в Тарту, Институт экономики Сибирского

отделения Академии наук и многие другие. Несмотря на очевидные успехи власти по борьбе со свободомыслием, существовала целая сеть самиздатовской литературы. Наиболее радикальной формой гражданской инициативы было диссидентское движение, которое превратилось в заметное явление, несмотря на то что насчитывало оно всего лишь несколько сотен приверженцев из числа советских интеллектуалов. И в этой среде, так же как и в среде дореволюционного «ученого сословия», ключевыми были ценности личности — ценности, основанные на конституционных идеях, идеях прав и свобод человека.

Пожалуй, последний всплеск интереса к образу неангажированного властью деятеля науки, выступающего со своим независимым мнением по важнейшим вопросам общественного и политического развития, произошел в годы горбачевской перестройки. Тихий голос академика Андрея Сахарова, просветительские беседы в эфире главных телеканалов с Дмитрием Лихачевым или Юрием Лотманом стали приметой времени перестроечных надежд. Многие известные представители научного и университетского сообщества стали политиками, депутатами, министрами и мэрами крупнейших городов. Однако политическая и историческая роль профессоров-политиков в 1990-е годы вряд ли может иметь однозначные оценки и до сих пор вызывает весьма экспрессивные споры.

Сам образ профессора, который был связан с дореволюционной культурой «ученого сословия», еще в Советском Союзе, а тем более в постсоветской России стал фантомным. Историческая апелляция к дореволюционным идеалам в новых условиях выглядит все менее убедительно. Разумеется, можно назвать много ярких имен, в том числе и среди наших современников, которые являются образцом служения науки и соответствуют самым высоким морально-нравственным требованиям. Но речь идет не об отдельных личностях, а о сообществе в целом. Массовое получе-

ние ученых степеней политиками, чиновниками, журналистами и бизнесменами в постсоветской России в условиях критического нарастания плагиата в диссертационных исследованиях, поддержка высокопоставленными чиновниками псевдоученых-бизнесменов, коррупция в учреждениях образования привели сегодня к фактической утрате внутрикорпоративной нормативности научного сообщества. Целостная позиция научного сообщества в современной России звучит все менее внятно, даже по таким ключевым для этого сообщества вопросам, как реформа сферы науки и образования. Остался лишь идеальный образ профессора, который и сегодня в массовом сознании часто наделяется самыми лучшими чертами до тех пор, пока этот образ не разбивается о современные реалии. Но и в самом этом идеальном образе утрачено главное — отражение внятной гражданской позиции целого слоя, солидарность в отстаивании своих принципов и нравственная бескомпромиссность.

Авторитет науки в истории России укреплялся вместе с ростом общественного признания научного сообщества. Сегодня научное сообщество перестало существовать как целостный слой, имеющий общие интересы. Отстаиванию внятной гражданской позиции исследователи предпочитают, похоже, роль зрителя в спектакле, разыгрываемом известными сценаристами. Не стоит удивляться, что это сообщество из субъекта общественной жизни все больше превращается в объект системы «ручного управления».

А интересы объекта учитывать необязательно.

3.

История университетов имеет свои взлеты и падения. Расцвет средневековых университетов сменился их упадком в Новое время. Удивительно, что несколько столетий напряженная интеллектуальная жизнь в Европе Нового

времени велась преимущественно за стенами университетов, состояние которых было весьма плачевным. Их возрождение и новый подъем начинается лишь с XIX века. Тогда же и в России появляется университетское «ученое сословие», внесословное по своему происхождению. Это было время, когда интеллектуальная жизнь подготовила появление вполне целостной и понятной картины мира, которую интеллектуальная элита желала транслировать в более широкую социальную среду.

К началу XXI века после нескольких десятилетий послевоенного триумфа социально-гуманитарных наук, разочаровавшегося на фоне воплощения ценностей демократии в странах Запада, мы вступили в период нового упадка университета, который в обществах постмодерна теряет заданные ценностями Просвещения смыслы, а значит, и собственную идентичность. «Конститутивным моментом университета эпохи модерна является помещение в центр определенной идеи и подчинения ей преподавания и исследования, — писал Билл Ридингс. — Однако в постисторическом университете ключевым элементом становится бюрократическое администрирование, поскольку пустота идеи совершенства делает интеграцию действий чисто административной функцией»⁴. Университетское образование, становясь все более массовым и универсальным, утрачивает свои изначальные функции производства и поддержания образцов высокой социально-гуманитарной культуры. Легкость, с которой вузы получают сегодня вывеску «университет», приводит к размыванию смысла, что, видимо, свидетельствует о наступлении совершенно новых времен в истории высшего образования⁵. Неслучайно университет определяется в утилитарных терминах — сначала как «фабрика знаний», а позже как «образовательный супермаркет», торгующий услугами.

Причина этих трансформаций не только в том, что разросшаяся сфера образования в условиях демографическо-

го спада приблизилась к своим количественным пределам. И даже не в том, что научному сообществу все сложнее создавать новое качество науки как фундаментальной объяснительной модели реальности в условиях, когда современные рынки требуют прагматического подхода к знанию и узких специалистов-технологов.

Главное все же в другом: меняется фундаментальная основа современных обществ, в которых картина мира, созданная науками Нового времени, перестает быть адекватной. Культура обществ постмодерна характеризуется кризисом «больших нарративов» и распадом целостных рационализированных представлений о мире. На смену глубине интеллектуальных размышлений приходит поверхностное скольжение по разным дискурсам. В обществе потребления, сориентированном на сиюминутные прагматичные нужды, утрачивают свою актуальность и культурную легитимность проекты будущего, меняется и само переживание времени. Наблюдаются также явные тенденции размывания антропоцентризма: главным объектом современной массовой культуры оказывается уже не личность, а, скорее, некие постантропоморфные образы. Общественные тенденции утрачивают предсказуемость, а риски и неопределенности становятся нормой. Все эти тенденции свидетельствуют о фундаментальном смещении в стилях мышления, которые сопровождаются распадом научного этоса. Радикальные социальные трансформации привели не только к расхождению между меняющейся реальностью и структурой социально-гуманитарного знания, но и к сомнениям в демократии, основополагающие принципы которой подвергаются сегодня пересмотру. Упадок университета непосредственным образом связан с этими процессами.

Однако распад научного этоса и кризис университета в России помимо общих причин имеет и специфические. Оставим в стороне ту специфику, которая объясняется односторонностью и незавершенностью проекта модерна в

России. Об этой специфике речь шла выше. Но помимо этого существуют и серьезные внутрисистемные особенности и противоречия вузовского образования.

В Европе и США основу системы высшего образования составляли университеты с классическим набором факультетов и мощной социально-гуманитарной составляющей. Университетская культура способствовала межфакультетскому общению и воспроизводству универалистского этоса науки, совместному отстаиванию принципов академической свободы и автономии научного творчества. Так было и в дореволюционной России. Любопытно, что сегодня именно эта модель высшего образования, несмотря на явный кризис современного университета, привлекает Китай. Однако система высшего образования в Советском Союзе имела несколько иную конфигурацию. Разумеется, некоторая степень свободомыслия в советских университетах сохранялась, особенно после смерти Сталина. Иначе невозможно было бы рассчитывать на развитие университетского образования. Но никакие вольнодумцы не допускались в стены университетов. Именно в этом стремлении оградить университетскую жизнь от свободомыслия, без которого невозможно подлинно научное творчество, состоит одна из причин отделения университетского образования от академической науки, которая загонялась в академические институты и закрытые «шарашки». Тем самым нарушался фундаментальный принцип гумбольдтовского идеала: единство науки, образования и воспитания. Более того, сеть классических университетов, хотя и была расширена по сравнению с дореволюционным временем, не являлась монопольным представителем всей системы высшего образования. В условиях советской плановой экономики эта сеть была фактически растворена среди многообразных и многочисленных отраслевых вузов: инженерных, строительных, транспортных, энергетических, медицинских, педагогических, авиационных, сельскохозяйственных, театральных и литературных.

Сам этот факт предопределил судьбу высшего образования в постсоветский период. Крах плановой экономики превратил отрасли из структурированных субъектов в статистические абстракции и уничтожил связь вуза с отраслевыми рынками труда. В результате специализированные вузы стали создавать огромное количество непрофильных, но модных факультетов (менеджмента и маркетинга, экономики и социологии, политологии и права). Абсолютное большинство этих факультетов были созданы буквально с «чистого листа» в чуждом пространстве вузов, имевших совершенно иной профиль⁶. Возникновение непрофильных программ, а также появление огромного количества псевдовузов позволило после распада советской системы образования не только выжить преподавателям высшей школы, но и отвлечь на время учебы значительное количество молодежи с сокращающегося рынка труда. Однако оборотной стороной постсоветского раздувания высшей школы стала утрата профессионализма и академической культуры. Профанация научной и образовательной деятельности всего за несколько лет стала нормой и проникла даже в ведущие университеты, открытые еще в дореволюционной России. Одновременно произошло размывание научного сообщества, которое было подвержено быстрым процессам депрофессионализации.

В этих условиях интеллектуальная и научная жизнь современной России перемещается за стены университетов. Ученый-интеллектуал, позиция которого еще в годы горбачевской перестройки была значима для огромных сегментов общественного мнения, — теперь уходящая фигура. По итогам социологического опроса, посвященного образу интеллигенции в современной России, проведенного весной 2012 года «Левада-центром», Борис Дубин делает заключение о том, что лишь немногие сегодня могут представить слой интеллектуалов, который противостоит власти, не служит государству, а является независимой

интеллектуальной силой. Однако именно сейчас, на волне протестного настроения и раскрепощения гражданской активности, мечта о таких независимых интеллектуалах появляется вновь⁷.

* * *

Интеллектуалы всегда приносили смысл в жизнь, полную неопределенности. Они разрушали стереотипы, сковывающие мысль и развитие. Сквозь общие неуверенность и разочарование они видели казавшиеся фантастическими черты будущего. И, что, пожалуй, самое важное, они создавали морально-нравственные эталоны в обществах Нового времени. Но сегодня судьба самих интеллектуалов становится крайне неопределенной. Возможно, на смену университетским интеллектуалам образца XIX века, открывшим в России пространство гражданской свободы, сегодня придут новые сообщества интеллектуалов, рождающиеся в креативных пространствах городской культуры. Видимо, они будут более разнообразны по своему составу, жизненным стилям и образу мысли. Очевидно, новые интеллектуалы, выросшие в обстановке конкуренции, пользующиеся новыми средствами коммуникации и сориентированные на успех, представляют собой принципиально новое социальное и культурное явление. Но, возможно, именно им удастся преодолеть характерное для российского интеллектуального слоя двойственное положение между стремлением к свободному мышлению и зависимостью от власти.

Остается надежда и на то, что современный кризис моделей образования, сопровождаемый поисками новых (или хорошо забытых) форм, завершится подъемом университетов. И, возможно, обновленный университет окажется еще способным вернуть себе статус центра гражданской и общественной жизни, функция которого не сводится к производству прикладных и хорошо продаваемых знаний

или к торговле дипломами и образовательными услугами, а состоит прежде всего в создании человеческого и социального капитала. Эволюция современного общества в сторону все более очевидного сетевого антропоцентризма, освобождающего человека от жесткой связи с его профессиональной функциональностью, требует и новой модели гражданской свободы, и нового проекта социально-гуманитарных наук, а следовательно, и нового университета.

Впрочем, в вызревании этой потребности слишком много неопределенностей.

Тем более в России.

Примечания

Университеты и свобода: русская ретроспектива на фоне Европы

- 1 Маяковский В.В. Во весь голос // Маяковский В.В. Соч. в 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1988. С. 425.
- 2 См.: Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX в. М.: Мысль, 1971. С. 174–175.
- 3 Чичерин Б.Н. Студенческие годы. Москва сороковых годов // Московский университет в воспоминаниях современников. М.: Современник, 1989. С. 378.
- 4 См.: Дружинин Н.М. Москва в годы Крымской войны // История Москвы. Т. 3. М.: Академия наук СССР, 1954. С. 777.
- 5 См.: Розенталь В.Н. Русский либерал 50-х годов XIX в. (общественно-политические взгляды К.Д. Кавелина в 50-х — начале 60-х годов) // Революционная ситуация в России 1859–1961 гг. М.: Наука, 1974. С. 234.
- 6 См.: Вестник Европы. 1896. № 10. С. 768–790.
- 7 См.: Думова Н.Г. Кончилось ваше время... М.: Политиздат, 1990. С. 6.
- 8 Овсяннико-Куликовский Д. Итоги русской художественной литературы XIX века // Вестник воспитания. 1906. № 2. С. 14.
- 9 Берлин И. Рождение русской интеллигенции // Вопросы литературы. 1993. Выпуск IV. С. 196–197.
- 10 Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.: РОСПЭН, 2006. С. 543.
- 11 См.: Диас Э. Интеллектуалы и политика в Испании: институционалисты и социалисты // Интеллектуалы и политика. Под ред. Р. Дель Агилы. М.: Московская школа политических исследований, 2007. С. 75.
- 12 См.: Краснова И.А. К вопросу об истоках ренессансного рационализма // Средневековый город. Вып. 9. Саратов, 1989. С. 34.
- 13 См.: Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. С. 100.

- 14 Вебер М. Город // Избранное. М.: Юрист, 1994. С. 330.
- 15 См.: Готлиб Л. Университет // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 68. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1902. С. 751, 758.
- 16 Бринтон К. Истоки западного образа мысли. М.: Московская школа политических исследований, 2003. С. 49.
- 17 См.: Смит Р. История гуманитарных наук. М.: ГУ ВШЭ, 2007. С. 261–263.
- 18 См.: Согомонов А. Корпоративная ответственность постсовременного университета // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2006. № 4–5 (048-049). С. 212–213.
- 19 Примером такой экспансии является возникновение университетов в США. Когда неадекватность прежней системы образования стала очевидной и многие американцы отправились на обучение в Германию, в 1862 году правительство выпустило закон Моррилла, который обязал власти штатов безвозмездно предоставлять земли образовательным учреждениям. Это привело к возникновению университетов и колледжей, тесно связанных с местным бизнесом и заинтересованных в проведении социальных реформ. Так появились университеты Корнуэлл, Стэнфорд, университет Джона Хопкинса, Чикагский университет. Старые колледжи, такие как Гарвард, приступили к полномасштабной реформе своей деятельности в немецком духе. Возникшая связь университета, местного сообщества и бизнеса оказалась весьма плодотворной. Власти штатов инвестировали огромные средства в социологические и психологические исследования, поскольку были заинтересованы в развитии наук, имеющих практическую ценность для общества (См.: Смит Р. Указ. соч. С. 267).
- 20 См.: История Ленинградского университета, 1819–1969: Очерки. Л.: ЛГУ, 1969. С. 48.
- 21 См.: Левандовский А.А. Время Грановского: У истоков формирования русской интеллигенции. М.: Молодая гвардия, 1990. С. 97.
- 22 Никитенко А.В. Моя повесть о самом себе и о том «чему свидетель в жизни был». Записки и дневник 1804–1877 гг. СПб.: Герольд, 1904. С. 321.
- 23 См.: История Ленинградского университета... С. 51.
- 24 Жебелев С.А. Из университетских воспоминаний // Ленинградский университет в воспоминаниях современников. Т. 1. Л.: ЛГУ, 1963. С. 177.
- 25 Там же. С. 180, 181.

*Рождение «ученого сословия»:
опыт социальной сети поверх сословных границ*

- 1 Цит. по: Размышления о России и русских. «Вторая философия» русского человека. Составитель С. Иванов. М.: Московская школа политических исследований, 2006. С. 472.
- 2 См. Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох: от России крепостнической к России капиталистической. М.: Наука, 1985. С. 223.
- 3 См.: История Ленинградского университета, 1819–1969: Очерки. Л.: ЛГУ, 1969. С. 12–14.
- 4 Герцен А.И. Московский университет // Московский университет в воспоминаниях современников. М.: Современник, 1989. С. 121.
- 5 См.: А.К.Г. Московский университет // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 3. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1897. С. 1.
- 6 Карамзин Н.М. Записка «О древней и новой России» // История государства Российского. Т. X–XII. Тула: Приокское книжное издательство, 1990. С. 525.
- 7 Свербеев Д.Н. Из воспоминаний // Московский университет в воспоминаниях современников. М.: Современник, 1989. С. 71.
- 8 Тимковский Е.Ф. Московский университет в 1805–1810 гг. Из воспоминаний // Московский университет в воспоминаниях современников. М.: Современник, 1989. С. 61.
- 9 Свербеев Д.Н. Указ. соч. С. 73.
- 10 Карамзин Н.М. Указ. соч. С. 525–526.
- 11 Пушкин А.С. Собр. соч. в 8 томах. Т. 2. М.: Художественная литература, 1969. С. 168.
- 12 Греч Н.И. Воспоминания старика // Ленинградский университет в воспоминаниях современников. Т. 1. Л.: ЛГУ, 1963. С. 18–19.
- 13 Цит. по: История Ленинградского университета... С 40.
- 14 См.: Буслаев Ф.И. Мои воспоминания // Московский университет в воспоминаниях современников. М.: Современник, 1989. С. 220.
- 15 Чичерин Б.Н. Студенческие годы. Москва сороковых годов // Московский университет в воспоминаниях современников. М.: Современник, 1989. С. 375.
- 16 Герцен А.И. Былое и думы. Минск: Народная асвета, 1971. С. 429.

- 17 Ключевский В.О. Памяти Т.Н. Грановского // Литературные портреты. М.: Современник, 1991. С. 200.
- 18 Полонский Я.П. Мои студенческие воспоминания // Московский университет в воспоминаниях современников. М.: Современник, 1989. С. 246.
- 19 Афанасьев А.Н. Московский университет (1844–1848) // Московский университет в воспоминаниях современников. М.: Современник, 1989. С. 254.
- 20 См.: Марголис Ю.Д., Тишкин Г.А. Отечеству на пользу, а россиянам во славу: Из истории университетского образования в Петербурге в XVIII — нач. XIX в. Л.: ЛГУ, 1988. С. 188–194.
- 21 См.: Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох: от России крепостнической к России капиталистической. М.: Наука, 1985. С. 222–224.
- 22 См.: Прокопенко З.Т. А.В.Никитенко и Н.Г.Чернышевский // Русская литература. 1978. № 2. С. 121–122.
- 23 См.: Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX в. М.: Мысль, 1971. С. 177–178.
- 24 Чичерин Б.Н. Указ. соч. С. 398.
- 25 См.: Алексеев П.В. Революция и научная интеллигенция. М.: Политиздат, 1987. С. 24.
- 26 Берлин И. История свободы. Россия. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 18.
- 27 Овсяннико-Куликовский Д.Н. Психология русской интеллигенции // Вехи; Интеллигенция в России: сб. ст. 1909–1910. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 392.
- 28 Чичерин Б.Н. Указ. соч. С. 379.
- 29 Ключевский В.О. Указ. соч. С. 200.
- 30 См.: Левандовский А.А. Время Грановского. М.: Молодая гвардия, 1990. С. 104.
- 31 Ключевский В.О. Указ. соч. С. 200–201.
- 32 Чичерин Б.Н. Указ. соч. С. 379.
- 33 См.: Розенталь В.Н. Идеиные центры либерального движения в России накануне революционной ситуации // Революционная ситуация в России 1859–1861 гг. М.: Наука, 1963. С. 377–384.
- 34 См.: Розенталь В.Н. Русский либерал 50-х годов XIX в. (общественно-политические взгляды К.Д. Кавелина в 50-х — начале 60-х годов) // Революционная ситуация в России 1859–1961 гг. М.: Наука, 1974. С. 240.
- 35 См.: Emmons T. The Formation of Political Parties and the First National Elections in Russia. Cambridge, Mass. 1983. P. 65–68.
- 36 Цит. по: Алексеев П.В. Указ. соч. С. 17.

*Самоподрыв самодержавия:
университетская автономия и власть*

- 1 Ключевский В.О. Из «Дневника» // Литературные портреты. М., 1991. С. 438.
- 2 Вернадский В.И. Труды по истории науки в России. М.: Наука, 1988. С. 66.
- 3 См.: Хабермас Ю. Техника и наука как идеология. Пер. с нем. М.Л. Хорькова. М.: Практикс, 2007. С. 122–123.
- 4 Цит. по: Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох: От России крепостнической к России капиталистической. М.: Наука, 1985. С. 54.
- 5 Об учреждении Московского университета и двух гимназий. С приложением высочайше утвержденного проекта по сему предмету // Московский университет в воспоминаниях современников. М.: Современник, 1989. С. 31–33.
- 6 См.: История Московского университета. М.: МГУ, 1955. С. 78–79.
- 7 Рожественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902. Факсимильное издание 1902 г. СПб.: Альфарет, 2010. С. 111.
- 8 Загоскин Н.П. История императорского Казанского университета за первые сто лет его существования. 1804–1904 гг. Т. 1. Казань: Типо-литография Императорского Казанского университета, 1902. С.5.
- 9 Чичерин Б.Н. Студенческие годы. Москва сороковых годов // Московский университет в воспоминаниях современников. М.: Современник, 1989. С. 389.
- 10 См.: Левандовский А.А. Время Грановского. М.: Молодая гвардия, 1990. С. 107–109.
- 11 Афанасьев А.Н. Московский университет (1844–1848) // Московский университет в воспоминаниях современников. М.: Современник, 1989. С. 249.
- 12 Чичерин Б.Н. Указ. соч. С. 374–375.
- 13 Цит. по: Сторожев В.Н. Воспоминания о Т.Н. Грановском. Ростов-на-Дону: Донская речь, 1906. С. 8.
- 14 См.: Эймонтова Р.Г. Революционная ситуация и подготовка университетской реформы в России // Революционная ситуация в России 1859–1961 гг. М.: Наука, 1974. С. 62–64.
- 15 См.: Очерки истории российского образования: К 200-летию Министерства образования Российской Федерации. В 3 т. Т. 1. М.: МГУП, 2002. С. 331–332.

- 16 См.: История Ленинградского университета, 1819–1969: очерки. Л.: ЛГУ, 1969. С. 72.
- 17 См.: История Ленинградского университета... С. 75, 99–139.
- 18 См.: Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т. 2, ч. 2. М.: Прогресс-Культура, 1994. С. 337.
- 19 См.: Алексеев П.В. Революция и научная интеллигенция. М.: Политиздат, 1987. С. 24.
- 20 Локоть Т. Школа и Дума // Вестник воспитания. 1906. № 4. С. 13.
- 21 Хроника // Вестник воспитания. 1906. № 2. С. 87, 88.
- 22 Там же. 97–98.
- 23 См.: История России. XX век: 1894–1939. Под ред. А.Б. Зубова. М.: Астрель; АСТ, 2009. С. 266.
- 24 См.: Karpovich M. The Imperial Russia. 1801–1917. New York: Holt, 1932. P. 12–14.

Дух свободы в несвободном обществе

- 1 Эйнштейн А. Свобода и наука // Собрание научных трудов. Т. 4. М.: Наука, 1967. С. 239.
- 2 См.: Merton R.K. The Sociology of Science. Chicago: Chicago University Press, 1973. P. 267–278.
- 3 См.: Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л.: Советский писатель, 1971. С. 36–37.
- 4 Чичерин Б.Н. Студенческие годы. Москва сороковых годов // Московский университет в воспоминаниях современников. М.: Современник, 1989. С. 385–386.
- 5 Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 1. Ч. 1. Л.: ЭГО, 1991. С. 153.
- 6 Кавелин К.Д. Наш умственный строй. М.: Правда, 1990. С. 310, 311, 314.
- 7 Чехов А.П. Скучная история // Повести. М.: Художественная литература, 1953. С. 43.
- 8 См.: Baker K.M. Enlightenment and the Institution of Society: Notes for a Conceptual History // Main Trends in Cultural History: Ten Essays / eds. W. Melching, W. Velema. Amsterdam: Rodopi, 1994. P. 96.
- 9 Цит. по: Зеньковский В.В. Указ. соч. Т. 1. Ч. 2. С. 69.
- 10 Цит. по: Лосский Н.О. История русской философии. М.: Высшая школа, 1991. С. 77.
- 11 Хомяков А.С. О старом и новом: статьи и очерки. М.: Современник, 1988. С. 166.
- 12 Чичерин Б.Н. Указ соч. С. 375.

- 13 Чехов А.П. Указ. соч. С. 11.
- 14 Никитенко А.В. Моя повесть о самом себе и о том «чему свидетель в жизни был». Записки и дневник 1804–1877 гг. СПб.: Герольд, 1904. С. 370.
- 15 Там же. С. 384.
- 16 Белый А. Крещеный китаец. М.: Панорама, 1992. С. 14–15.
- 17 Герцен А.И. Былое и думы. Минск: Народная асвета, 1971. С. 450.
- 18 Дельвиг А.А. Полное собрание стихотворений. Л.: Советский писатель, 1959. С. 73–74, 75.
- 19 Чехов А.П. Указ. соч. С. 11, 12.
- 20 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 27. Л.: Наука, 1984. С. 58.
- 21 Хабермас Ю. Техника и наука как идеология. Пер. с нем. М.Л. Хорькова. М.: Праксис, 2007. С. 139, 141, 132.
- 22 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М.: Пресса, 1991. С. 46–47, 33.
- 23 Булгаков С. Героизм и подвижничество // Вехи; Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909–1910. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 48.
- 24 Новгородцев П.И. Указ. соч. С. 33.
- 25 Леонтьев К.Н. Чем и как либерализм наш вреден? // Записки отшельника. М.: Русская книга, 1992. С. 329, 336, 338.
- 26 Леонтьев К.Н. Грамотность и народность // Записки отшельника. М.: Русская книга, 1992. С. 360.

«Профессорская культура»:

историко-культурные контексты «расколдованного» мира

- 1 Белый А. На рубеже двух столетий. М.: Художественная литература, 1989. С. 107.
- 2 Там же. С. 448, 107–108.
- 3 Овсяннико-Куликовский Д.Н. Психология русской интеллигенции // Вехи; Интеллигенция в России. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 387–388.
- 4 Белый А. Указ. соч. С. 52.
- 5 Там же. С. 68
- 6 Там же. С. 448.
- 7 Там же. С. 450–451.
- 8 См.: Кантор В.К. Русское искусство и «профессорская культура» // Вопросы литературы. 1978. № 3; Кантор В.К. Русская эстетика второй половины XIX столетия и общественная борь-

- ба. М.: Искусство, 1978; Кантор В.К. «Средь бурь гражданских и тревоги...»: Борьба идей в русской литературе 40–70-х годов XIX века. М.: Художественная литература, 1988.
- 9 Белый А. Указ. соч. С. 445.
 - 10 См.: Кантор В.К. «Средь бурь гражданских и тревоги...» С. 120–122.
 - 11 Белый А. Указ. соч. С. 120.
 - 12 Гёте И.В. Фауст: Трагедия. Пер. с нем. Б. Пастернака. М.: Де Агостини, 2006. С. 23.
 - 13 Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. Пер. с нидерл. М.: Прогресс, 1992. С. 287.
 - 14 Леонтьев К.Н. Грамотность и народность // Записки отшельника. М.: Русская книга, 1992. С. 385, 388.
 - 15 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 27. Л.: Наука, 1984. С. 52, 58.
 - 16 Чехов А.П. Скучная история // Повести. М.: Художественная литература, 1953. С. 33.
 - 17 Гёте И.В. Указ. соч. С. 15–16.
 - 18 Цит. по: Домников С.Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество. М.: Алетейа, 2002. С. 515–516.
 - 19 Гессе Г. Фауст и Заратустра // Фауст и Заратустра. Пер. с нем. СПб.: Азбука, 2001. С. 10.
 - 20 Гёте И.В. Указ. соч. С. 544.
 - 21 Чуковский К.И. Из воспоминаний. М.: Советский писатель, 1958. С. 279.
 - 22 Известия. 1922. 19 октября.
 - 23 См.: Алексеев П.В. Революция и научная интеллигенция. М.: Политиздат, 1987. С. 37–38.
 - 24 См.: Советская историческая энциклопедия. Т. 16. М.: Советская энциклопедия, 1976. С. 492–498. То же: <http://www.guni-vers.ru/bookreader/book10475/#page/248/mode/1up>
 - 25 См.: История России. XX век: 1894–1939. Под ред. А.Б. Зубова. М.: Астрель; АСТ, 2009. С. 829.
 - 26 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т. 2, ч. 2. М.: Прогресс-Культура, 1994. С. 419.
 - 27 См.: Сиверцева Н.Л. Высшая школа России: особенности послереволюционной реформы // Социс, 1993, № 3. С. 71.
 - 28 Енчмен Э. Теория новой биологии и марксизм. Пг.: Наука и труд, 1923. С. 31; Енчмен Э. Восемнадцать тезисов о «теории новой биологии». Пятигорск: Сев.-Кавказский ревком, 1920. С. 43.
 - 29 Унамуно М., де. Житие Дон Кихота и Санчо по Мигелю де Сервантесу Сааведре, объясненное и комментированное

Мигелем де Унамуно. Пер. с исп. А. Косс, П. Глазовой, С. Николаевой. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. С. 107.

30 Там же. С. 352.

31 Ключевский В.О. Памяти Т.Н. Грановского // Литературные портреты. М.: Современник, 1991. С. 203, 204.

32 Унамуно М., де. Указ. соч. С. 54.

*Быть интеллектуалом в России
(вместо послесловия)*

1 Ратцингер Й. (Бенедикт XVI). Сущность и задачи богословия. Попытка определения в диспуте современности. Пер. с нем. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. С. 41.

2 Вернадский В.И. Труды по истории науки в России. М.: Наука, 1988. С. 66.

3 См.: Солженицын А. Образованщина // Новый мир. 1991. № 5. То же: <http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/obrazovan.txt>

4 Ридингс Б. Университет в руинах. Пер. с англ. А.М. Корбута. М.: ГУ ВШЭ, 2010. С. 238.

5 См.: Согомонов А.Ю. Кризис идентичности постсовременного университета // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2007. № 3 (53). С. 129.

6 См.: Любимов Л.Л. Угасание образовательного этоса // Вопросы образования. 2009. № 1. С. 201–202.

7 См.: Дубин Б. Интеллигенция — фантомная боль России // Московские новости. 2012. 20 апреля. <http://mn.ru/friday/20120420/316104661.html>

Дмитрий Горин

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И СВОБОДА

Опыт научного сообщества
в дореволюционной России

Компьютерная верстка *В. Козак*

Подписано в печать 28.11.2012. Формат издания 60x84/16.

Печ. л. 9,5. Тираж 1000 экз. Заказ №

Московская школа политических исследований
127006, Москва,

Старопименовский переулок, д. 11/6, строение 1

Тел./факс: +7 (495) 699 01 73

E-mail: msps@msps.su <http://www.msps.ru>